

К. С. АКСАКОВ
И. С. АКСАКОВ



ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

8P1
A41

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**К. С. АКСАКОВ
И. С. АКСАКОВ**

**ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА**

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1981

✓ О. С. Аксакوف, ак. о. лас. ин. а.
библиотека им. Н. К. Крупской

КОНСТАНТИН И ИВАН АКСАКОВЫ

...Они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе.

Н. Г. Чернышевский

1

Осенним днем 1855 года Александру II была передана «Записка», в которой, в частности, говорилось: «Не подлежит спору, что правительство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв это добросовестно, правительство никогда не посягнет на самостоятельность народной жизни и народного духа... Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отделилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах... Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу... При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман... Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут... Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны. Это до того вошло, так сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные люди: нет, очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди — тоже воры: исключений немного... Все зло происходит главным образом от угнетательной системы нашего правительства... Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы... Лишенный нравственных сил, человек становится бездушен и, с инстинктивной хитростью, где может, грабит, ворует, плурует... Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли, и восстановило их... Стоит лишь уничтожить гнет, наложенный государством на землю (т. е. «крепостное состояние», эту «внутреннюю язву» России, как сказано в «Записке». — А. К.), и тогда легко можно стать в истинно русские отношения к народу...»¹

¹ Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910, с. 80—96.

Надо было обладать незаурядным мужеством, чтобы обратиться к российскому самодержцу с подобным разоблачением самодержавно-крепостнической действительности, всей угнетательной системы царизма, да еще в момент, когда так свежа была память о «мрачном семилетии» — полосе реакции, последовавшей в стране после поражения европейских революций 1848—1849 гг. и продолжавшейся вплоть до смерти Николая I в феврале 1855 года, семилетии, которым этот коронованный деспот бесславно завершил свое царствование. Тогда преследовалось любое слово, любое действие, если их можно было истолковать как косвенное (не говоря уже прямое) выражение недовольства существующими порядками и, тем более, как намек на желательность или необходимость изменения этих порядков: во всем мерещилась крамола, во всем видели тайный призыв к революции. Вспомним: даже чтение зальцбруннского письма Белинского к Гоголю расценивалось не иначе как государственное преступление, за что Ф. М. Достоевский, среди других членов кружка М. В. Петрашевского, был в 1849 году приговорен к смертной казни, которую «смиловившийся» царь заменил... каторжными работами.

Как же надо было любить родину и ненавидеть самодержавно-крепостнический произвол, верить в торжество разума и справедливости при всей несправедливости существовавшего тогда в России общественного устройства и неразумности течения событий, приведших страну к поражению в Крымской войне, чтобы, несмотря ни на что, открыто высказать царю свое недовольство русской действительностью и при этом не побояться советовать всесильному самодержцу, каким образом следует ему исправить создавшееся положение, где главнейшим и необходимейшим было: отмена крепостного права, введение свободы мнений, предоставление свободы слова.

Автором этой обличительной «Записки», беспощадным критиком правительства и непрощеным советчиком царя был Константин Сергеевич Аксаков — видный литературно-общественный деятель России 40—50-х годов XIX века, сын замечательного русского писателя С. Т. Аксакова.

Его «Записка» выражала взгляды представителей славянофильского течения русской общественной мысли середины XIX века. Принадлежащие к этой группе А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, К. С. и И. С. Аксаковы, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин и некоторые другие не были революционерами и не помышляли о какой-либо вооруженной борьбе с правительством. Более того, они даже боялись самой возможности такого поворота событий и по-своему противились этому, но, как и все честные люди России тех лет, они ненавидели гнет, произвол и насилие, страстно желали освобождения своего народа, а потому были среди тех, кто, как писал А. И. Герцен, «осуждал императорский режим, установившийся при Николае». Не существовало, — отмечал Герцен, — двух мнений о петербургском правительстве. Все люди, имевшие независимые убеждения, одинаково расценивали его. И именно в этом следует искать объяснения странному зрелищу, какое представляли собой в литературных салонах Москвы дружеские встречи людей, принадлежавших к диаметрально противополо-

ложным партиям»¹. Славянофилы входили в единую со всеми передовыми и прогрессивными силами России того времени оппозицию царскому правительству. «...Вся литература времен Николая, — подчеркивал Герцен, — была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавлявшего всякое человеческое право»².

Славянофильство возникло в конце 30-х годов XIX века в условиях нараставшего кризиса самодержавно-крепостнической системы, когда впервые после поражения декабристов вновь остро встает вопрос о неестественности и невозможности «насильственного сближения»³ на почве русской действительности двух крайностей человеческого общежития: цивилизации и рабства.

Не видя выхода из создавшегося положения, часть русского общества все больше и больше впадала в пессимизм, не веря в возможность каких-либо преобразований. Выражением этих настроений становится знаменитое первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, увидевшее свет в 1836 году. «Опубликование этого письма, — писал Герцен, — было одним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского... Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, *настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет*»⁴. Причину этого Чаадаев видел в том, что россияне еще не сделали в полной мере западноевропейцами, в результате чего Россия «составляет пробел в нравственном миропорядке»⁵. Западная цивилизация обошла Россию, лишив ее тем самым будущего, — к такому выводу приходит автор «Философического письма».

Однако далеко не все впали в уныние. Нашлись люди, которые после надгробного слова Чаадаева подняли голову и протестовали против выданного им свидетельства о смерти. «Наша история, — говорили они, — едва начинается. К несчастью, мы сбились с дороги; нужно возвратиться назад и выйти из тупика, куда втолкнула нас своей надменной и грубой рукой цивилизующая империя»⁶. Это были славянофилы. «Письмо» Чаадаева, — отмечал далее Герцен, — прогремело подобно выстрелу из пистолета глубокой ночью... На этот крик отчаяния славянофилы ответили криком надежды»⁷.

Да, соглашались они, настоящее России ужасно, и у нее действительно нет никакого будущего, если идти путем дальнейшей европеизации всей нашей жизни, начало которой было положено реформами Петра I. В конце этого пути ее ждут мещанская бездуховность, состояние «полускот-

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18. М., 1959, с. 190.

² Там же, с. 190.

³ Там же, с. 185.

⁴ Там же, с. 186.

⁵ Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, т. 2. М., 1914, с. 117.

⁶ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 188.

⁷ Там же, с. 189.

ского равнодушия ко всему, что выше чувственных интересов и торговых расчетов»¹, то есть все «прелести» буржуазного общества. Россия должна решительно отказаться от слепого копирования иноземных порядков и норм жизни и пойти вперед своим самобытным, независимым путем. Здесь ее ожидают невиданные свершения и великая миссия: спасти человечество от бездуховности и нравственного вырождения, встать во главе европейской, а затем и мировой цивилизации и, опираясь на весь славянский мир, повести за собой другие народы в светлое и счастливое будущее. Для этого, считали славянофилы, необходимо одно: ликвидировать у себя империю — это порождение западной государственности — как систему управления нашей страной и вернуться к народным, славянским, общинным началам жизни. «Англичане, французы, немцы, — писал А. С. Хомяков, — не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго... Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее»².

Долой все заемное! Да здравствует свое, родное, народное, самобытное! Будем же во всем русскими — в устройстве своего государства и быта, в науке, философии, литературе, во всех сферах умственной и практической деятельности! У России все еще впереди! — таков был славянофильский «крик надежды», программа всей их последующей деятельности. Впервые это было изложено в 1839 году в статьях «О старом и новом» А. С. Хомякова и «В ответ А. С. Хомякову» И. В. Киреевского.

В период николаевской реакции активно в защиту всего самобытного, национального выступили славянофилы. В их призыве: «Будем во всем русскими!» — явственно звучал и прямой вызов ориентации самодержавных правителей. Смелчаками, отважившимися «отрицать цивилизующий режим немецкой империи в России»³, назвал славянофилов Герцен. Они и сами сознавали, что принадлежат «к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения нашей мысли от суеверного поклонения мысли других народов»⁴.

Славянофильство явилось определенным проявлением и своеобразным развитием тех стремлений к самобытности, оригинальности и народности, которыми жила передовая русская общественная и литературная мысль уже в 20-е годы и начало которому было положено событиями Отечественной войны 1812 года, обострившими в россиянах чувство патриотизма и национальной гордости⁵.

Неприятие современной им действительности и безграничная вера в

¹ Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1861, с. 234.

² Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1861, с. 368.

³ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 189.

⁴ Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. 1, с. 557.

⁵ См.: Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978, с. 41, 170—172.

великое будущее России не были отличительной чертой только славянофильского учения, их разделяли в то время все лучшие люди страны. «Завидуем внукам и правнукам нашим, — писал тогда же В. Г. Белинский, — которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества...»¹ Пробуждению этой надежды способствовала и литературно-общественная деятельность славянофилов в конце 30-х — начале 40-х годов, возбудившая в литературных салонах Москвы и Петербурга ожесточенные споры о степени целесообразности и жизненности тогдашнего устройства России, о путях ее дальнейшего развития, внесла известное оживление в общественную жизнь того времени, содействуя наряду с критикой Белинского, статьями Герцена, лекциями Грановского оздоровлению общественного мнения, подавленного казнью декабристов и последующей реакцией.

«...Явление славянофильства, — писал В. Г. Белинский, — есть факт, замечательный до известной степени, как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии»². Именно это имел в виду Герцен, когда отмечал: «А место они заняли не шуточное в новом развитии России, они свою мысль далеко вдавили в современный поток...»³ И еще: «С них начинается *перелом русской мысли*. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии»⁴.

Да, «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками»⁵. Именно с высоты этого требования подошел великий революционер-демократ Герцен к оценке роли и места славянофилов в развитии нашего общества, признавая их безусловные заслуги и «уступая пальму первенства постоянным противникам как возбудителям коренного поворота русского общественного сознания, совершившегося на границе начинавшихся 40-х годов»⁶. И в этом отношении роль славянофилов была действительно немалая.

Славянофилы жили и действовали в России 40—50-х годов XIX века, в ту пору, когда «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками»⁷. Они были решительными сторонниками отмены такого «права», называя его не иначе как «наглое нарушение всех прав»⁸, и не скрывали своих взглядов. В период «мрачного

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1953, с. 488.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10. М., 1956, с. 264.

³ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 20. М., 1959, с. 347.

⁴ Там же, т. 9. М., 1956, с. 170.

⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.

⁶ Старикова Е. В. Литературно-публицистическая деятельность славянофилов. — В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978, с. 70.

⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

⁸ Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. 1, с. 361.

семилетия» они оказались в России чуть ли не единственными, кто открыто выражал недовольство существующей действительностью. Уже не было Белинского, отбывали каторгу петрашевцы, находившийся в эмиграции Герцен тяжело переживал поражение европейских революций 1848—1849 гг. и впервые обратился к России с «вольным русским словом» лишь в 1853 году. Не настало еще и время революционной деятельности Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. В этих условиях основную тяжесть противостояния царскому правительству и самодержавно-крепостническим порядкам *внутри* самой России взяли на себя славянофилы. И они выдержали ее, не изменили своему направлению, не отказались от обличения «императорского режима». Несмотря на аресты, ссылки, полицейский надзор, цензурные преследования, которым они подвергались в эти годы, славянофилы сохранили верность своему учению, основанному «на полном отрицании петербургской империи, на уважении к национальному, на подчинении воле народа»¹. И когда, с началом нового царствования, появилась возможность свои взгляды, все наблевшее к тому времени высказать печатно, они в числе первых включились в борьбу за изменение социальной и общественной жизни страны, за отмену крепостного права, за предоставление гражданам России полной свободы слова и мнений.

1856—1860 годы, время общественного подъема в России и обострения классовой борьбы, поставившей страну на грань крестьянской революции, были и периодом наивысшей активизации деятельности славянофилов, связанной с изданием ими журнала «Русская беседа», газеты «Парус», и деятельного сотрудничества в газете «Молва». Но эти годы становятся и временем заката славянофильства, когда постепенно уходят из жизни ведущие его представители и идеологи: в 1856 году умирают братья И. В. и П. В. Киреевские, в 1860-м — Хомяков и К. Аксаков. Они ушли как раз накануне освобождения крестьян, не увидев реальных плодов того дела, которому отдали двадцать лет и результаты которого оказались значительно ниже их ожиданий. Судьба была к ним по-своему милостива и уберегла их от неизбежных на этот счет разочарований.

Правительственное «решение» крестьянского вопроса вряд ли устроило бы основоположников славянофильства, признававших необходимость предоставления крестьянам права не только на личную свободу, но и на землю, которую они обрабатывают. Как бы повели себя старшие славянофилы в новых условиях — выступили бы с разного рода поправками и дополнениями к предложенной царским правительством реформе, направленной на ее «улучшение», либо стали бы открыто противиться ее претворению в жизнь, как не отвечающей интересам и чаяниям народа, — трудно сказать. Одно несомненно: они никогда бы не примирились с ее откровенной, по словам Чернышевского, «мерзостью», и доказательством тому служит оценка «Положения» от 19 февраля 1861 года И. Аксаковым, назвавшим его «дурацким»².

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 214.

² «Русский архив», 1901, № 6, с. 297.

Со смертью идеологов и главных своих деятелей славянофильство перестает существовать как самостоятельное литературно-общественное движение. Пережившие крестьянскую реформу 1861 года славянофилы — И. Аксаков, Самарин, Кошелев и другие — уже не представляли собою что-либо идейно и организационно цельное. Каждый из них по-своему истолковывал суть этого учения, защищая в нем те или иные, близкие им, положения и стороны. Славянофильство уходило в историю, и это прекрасно понимали оставшиеся славянофилы. «Теперь для нас, — писал И. С. Аксаков, узнав о смерти Хомякова, — наступает пора доживания, не положительной деятельности, а воспоминаний, доделываний. История нашего славянофильства, как круга, как деятеля общественного, замкнулась»¹.

2

Будучи по своему характеру антикрепостническим и в то же время антибуржуазным движением, славянофильство в идеологическом отношении представляло, пожалуй, самое сложное и противоречивое явление литературно-общественной жизни России 40—50-х годов XIX века. Это было обусловлено прежде всего ограниченностью классовой психологии его представителей: они были дворянами, а некоторые имели и собственных крепостных, и их выступления против плохих помещиков, скверных царей и никуда не годных порядков в России были по сути дела самокритикой, критикой внутри правящего класса, которая объективно была направлена на то, чтобы, улучшив жизнь народа и оздоровив внутрисполитическую атмосферу, сохранить неизменным ведущее положение этого класса. Да, славянофилы считали, что «помещики непременно должны понести правомерный убыток при эмансипации крестьян за то, что целые столетия пользовались безобразными правами над собственностью и лицом крестьянина»², но они даже и мысли не допускали, что это в какой-то мере может коснуться и руководящей роли дворян в управлении государством, тем самым предопределяя половинчатый характер и всех предлагаемых ими решений социальных проблем и наболевших вопросов русской действительности.

С другой стороны, противоречивость славянофильства явилась прямым отражением сложности самой эпохи, когда кризис крепостного строя в России совпал с началом кризиса капитализма в Европе. В 30—40-е годы XIX века уже явственно обнаружились глубокие противоречия и этого строя, пришедшего на смену феодализму. В результате неприятие славянофилами крепостничества, составлявшего основу феодального строя, сплошь и рядом соседствовало, уживалось и переплеталось с их неприятием и строя капиталистического, от которого они страстно желали уберечь Россию, что делало систему их философских, экономических, поли-

¹ Цит. по кн.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978, с. 69.

² Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 2. М., 1881, с. 108.

тических и социальных воззрений крайне субъективной, умозрительной, оторванной от реальных процессов развития европейских стран и человеческого общества вообще. Своеобразие жизненного уклада самой России тех лет, обусловленное существованием феодальных порядков и отношений и связанных с этим вековых предрассудков и заблуждений, также сказалось на общественных позициях и взглядах славянофилов.

Они были «непримиримыми противниками крепостничества и самодержавного произвола»¹, выступали за безотлагательное освобождение крестьян, причем с землею, потому что «крестьянин, обрабатывающий землю, крестьянин, для которого она единственная мать и кормилица более... имеет на нее право»², и одновременно разделяли царистские иллюзии патриархальной части русского крестьянства, все свои надежды возлагавшей на приход справедливого царя-батюшки. Славянофилы были убеждены, что Россия не может существовать без царя, который, в свою очередь, должен быть настоящим «отцом народа», выразителем его интересов, и в то же время неизменно критиковали поведение и деятельность всех реальных царей, считая, что ни один из них не соответствует своему назначению. Так, Николай I Иван Аксаков называет «просто душегубцем: никто не сделал России такого зла, как он»³.

Мечтая о полной социальной гармонии в отношениях между всеми русскими людьми, славянофилы не видели иного средства для духовного их единения, кроме религии, а потому выступали против распространения и пропаганды социалистических идей и учений. Они были и противниками революционного преобразования жизни, утверждая, что России нужны не «западные» новшества, а простое возвращение к древней славянской общине, полагая, что в смысле социального устройства лучше общины, где все решения принимаются сообща, коллективно, ничего создать невозможно. Нельзя не отметить, что славянофильское учение об общине было сочувственно встречено Н. Г. Чернышевским и А. И. Герценом, которые увидели в ней зародыш социализма, открывающий реальную возможность для перехода к бесклассовому коммунистическому обществу, минуя капитализм⁴.

Противоречивость социально-политической позиции славянофилов вызвала настороженное, а нередко и враждебное отношение к ним представителей буквально всех общественных движений в России того времени. С одной стороны, славянофильские призывы к освобождению крестьян, их требование все события и явления действительности поверять народными идеалами, насущными потребностями крестьянской массы, а также их стремление частично ограничить царскую власть всесословной, представительной совещательной Думой были явно не по душе сторон-

¹ Ломунов К. Н. Славянофильство как научная проблема. — В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 60.

² Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 2, с. 108.

³ Письмо к Н. Кохановской (Н. С. Соханской). — «Русское обозрение», 1897, № 2, с. 594.

⁴ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 175; т. 21, с. 257.

никам сохранения самодержавно-крепостнических порядков, дворянско-помещичьей партии, которые ненавидели, боялись славянофилов и боролись с ними. «Наши книги и журналы, — писал И. В. Киреевский, — проходили в публику, как вражеские корабли теперь проходят к берегам Финляндии, т. е. между скал и утесов и всегда в виду у крепости»¹. С другой стороны, процаристские настроения славянофилов, антиреволюционный пафос их выступлений и открытое умиление патриархальностью русского крестьянина вызывали решительный протест у прогрессивно настроенной части русского общества, и прежде всего — у революционеров-демократов.

Славянофилы ратовали за отмену крепостного права и преобразование государственного аппарата, самой системы общественного устройства России, однако целью освободительного движения, идеалом общественного устройства России для них был патриархально-общинный быт, некое всеобщее царство праведников². Неустанно разоблачая эту сторону их деятельности, передовые люди страны вместе с тем поддерживали открытую критику славянофилами самодержавия и административно-бюрократической системы царизма, их борьбу за отмену крепостного права и стремление поднять простого человека — крестьянина на высоту «первого лица» в русском обществе.

Определенное сочувствие и поддержку передовой России находило и то, что славянофилы везде и всюду выступали за самобытное развитие России, русской литературы, науки, мысли. В условиях «угнетательной системы» царизма они в числе первых подняли и развернули знамя русской народности. Бесконечно преданные России, они будущее своей родины неизменно связывали со свободой народа, с его экономической независимостью. «Мысль об освобождении крестьян с землею, необходимо истекающая из изучения народного русского быта, — писал И. С. Аксаков, — печатно впервые заявлена была в «Беседе» (№ 4, 1857.)»³, то есть в журнале «Русская беседа».

Как подчеркивает современный исследователь, славянофильство — одно из «самобытнейших явлений общественной жизни и человеческого духа» — возникло «на волне исторической общественной потребности освобождения от ига самодержавия и крепостничества»⁴. Герцен писал: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство... чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или двуглавый

¹ Письмо И. В. Киреевского к П. А. Вяземскому. — «Русская литература», 1966, № 4, с. 131.

² См.: Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 282—283.

³ «Русская беседа», 1859, № 6. Заключительное слово, с. V.

⁴ Кузнецов Феликс. Истина истории. — «Москва», 1981, № 1, с. 205.

орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*¹. Этим сердцем была для них родина, Россия, народ. «Отечество... — писал Хомяков, — не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которой я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то или такие-то права и такие-то и такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся цельность моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми желаниями сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло»².

Чувство безграничной любви к русскому народу было определяющим и доминирующим в общественной и литературной деятельности славянофилов, придавало особый характер не только их публицистике, историческим, социологическим, философским трудам, но и литературной критике. «Славянофилы, — писал В. П. Боткин П. В. Анненкову, — выговорили единственное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга»³. Современная наука подтверждает справедливость этого суждения, отмечая определенную «заслугу славянофилов» в инициативе постановки «вопроса о народности как раз на заре новой эпохи», вопроса, который «оказался таким актуальным, что немедленно разошелся по всем журналам и газетам»⁴. Славянофилы не только поставили этот вопрос, но и активно боролись за придание русской литературе этого качества, за «истинно народное» направление в ее развитии.

У талантливых людей жизнь и творчество нераздельны. Такими и были ведущие деятели славянофильства — И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин. Представив, по словам «Русской беседы», «немалые образцы самостоятельной, независимой, своеобразной русской мысли... в области философии, истории и филологии»⁵, они и в жизни своей были точно так же независимыми, самостоятельными, своеобразными. Жизненный и творческий путь братьев Константина и Ивана Аксаковых яркое тому подтверждение.

3

Константин был первым, а Иван — третьим сыном в большой и дружной семье Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны Аксаковых (а всего у них было шесть сыновей и восемь дочерей). Дети замечательного русского писателя, певца родной природы, вдохновенного летописца отечественного быта конца XVIII века, внуки солдата суворовской закалки

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 9—10.

² Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. 1, с. 92.

³ Западники 40-х годов. М., 1910, с. 260.

⁴ Егоров В. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Л., 1973, с. 104.

⁵ «Русская беседа», 1859, № 6. Заключительное слово, с. VII.

(Ольга Семеновна была дочерью генерал-майора С. Г. Заплетина, участвовавшего во многих походах А. В. Суворова, а позднее, во время Отечественной войны 1812 года, командовавшего ополчением), — они росли в атмосфере исключительной теплоты и доброты семейного уюта, «в патриархальном быту, крепкие старинным обычаем, вблизи народа, обвеваемые преданиями и легендами прошлого, на лоне деревенской природы»¹.

Вместе с отцовской лаской и материнским молоком, вместе с красотами заволжских просторов, где прошло их раннее детство, и взволнованными рассказами о героях земли русской впитали они высокое чувство национальной гордости, беззаветной и самозабвенной любви к родине, к народу. Эта любовь вела их по жизни, она подняла их на борьбу с крепостнической действительностью, произволом, неправдою, беззаконием, с бездумной подражательностью всему иностранному, наполнив особым смыслом их творчество, дела и поступки; она озарила их мечты о будущем России, ее великом предназначении.

Константин Сергеевич родился 29 марта (10 апреля) 1817 года в селе Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии, Иван Сергеевич — 26 сентября (8 октября) 1823 года в селе Надёжино (Куреедово) Белебеевского уезда той же губернии (ныне Надеждино, близ г. Аксаково Белебеевского района Башкирской АССР).

В Надёжине семейство Аксаковых провело безвыездно четыре года и осенью 1826 года перебралось в Москву. Везде, где бы ни находились Аксаковы — в своем ли московском доме или в Абрамцеве, которое Сергей Тимофеевич приобрел в 1843 году, — они жили, мало сказать, дружно: и взрослые и дети просто не мыслили своей жизни друг без друга. У нас, вспоминал об этом времени Иван Сергеевич, «дети не были отделяемы от родителей; гости принимались всей семьей»².

Благожелательность и взаимное уважение проявлялись у Аксаковых буквально во всем, вплоть до обращения друг к другу. Так, «в письмах к своим еще далеко не совершеннолетним сыновьям Сергей Тимофеевич всегда называет каждого из них: «Мой сын и друг», — и сам подписывается: «Твой друг и отец», — и под его пером это слово *друг* не есть только ласковое название, оно определяет на самом деле отношение отца к сыновьям: он был для них искренним и истинным другом, он действовал на них не только приемом внешнего, формального авторитета, но гораздо более влиянием нежного, разумного, мудрого сочувствия»³.

Это была настоящая русская семья, большая, крепкая, духовно здоровая, где царствовало согласие и безусловное, непререкаемое доверие всех к каждому и каждого ко всем, где все было чисто, честно, искренно, прямо, откровенно. И эти качества Аксаковы пронесли через всю свою жизнь, через все невзгоды и испытания, лишения и радости.

Чувство причастности каждого к делам и заботам других, душевная чуткость и отзывчивость становятся как бы нравственным импера-

¹ Бродский Н. Л. Славянофилы и их учение. — В кн.: Ранние славянофилы, с. X.

² Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 21.

³ Там же, с. 24.

тивом, основой личного и общественного поведения всех без исключения детей Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны. Может быть, отсюда и возникла страстная и непреклонная убежденность Константина и Ивана Аксаковых в том, что будущее России, нашего народа, всех славянских народов самым тесным и непосредственным образом связано с расцветом этого прекрасного и всепобеждающего чувства семьи единой. С этим чувством связана была для них и идея возрождения крестьянской общины.

Любовь к дому, к семейному очагу была у Константина Аксакова так сильна, что он практически никогда не расставался со своими родителями и не покидал Москвы (если не считать единственного пятимесячного пребывания за границей в 1838 году), лишь на лето выезжая вместе со всеми в Абрамцево.

В 1832 году пятнадцатилетний Константин поступает в Московский университет на словесный факультет (из русских писателей, пожалуй, только один А. С. Грибоедов был принят в это высшее учебное заведение в более раннем возрасте), который оканчивает в 1835 году. Это были годы не только увлекательной учебы, но и формирования философских воззрений, гражданской позиции Константина Аксакова, годы общения и дружбы с такими выдающимися людьми того времени, как Н. В. Станкевич и В. Г. Белинский, в то время также учившимися в университете. Именно Белинский предваряет первую публикацию К. Аксакова в 1835 году в газете Н. И. Надеждина «Молва» — отрывка из стихотворной драматической пародии «Олег под Константинополем» — шутливым предисловием, где называет автора «человеком с необыкновенным поэтическим дарованием»¹. Позднее, в 40-е годы, они будут резко и яростно спорить о путях развития нашего общества, о сущности русского народного характера, о своеобразии гоголевского таланта, о том, что нужнее России — «западничество» или «славянофильство», но в университетский и после-университетский периоды жизни их связывает самая нежная дружба, близкие, товарищеские, доверительные отношения.

После окончания университета Константин Аксаков активно сотрудничает в «Молве», а затем в «Московском наблюдателе», который в 1838—1839 гг. редактировал Белинский. На страницах этих изданий увидели свет его оригинальные стихи и стихотворные пародии (под псевдонимом *К. Эврипидин*), переводы немецких поэтов, преимущественно из Шиллера и Гете, пространная рецензия на «Основания русской грамматики» Белинского. Интерес к проблемам отечественного языка и грамматики К. Аксаков сохранит до конца своей жизни.

В эти годы происходит сближение Константина Аксакова с И. В. Киреевским и А. С. Хомяковым, его увлекает развиваемая ими идея преобразования русского общества на народных, самобытных началах. Он становится одним из самых ревностнейших сторонников и пропагандистов этого учения и принимает деятельное участие в его разработке.

Обладая даром страстной, эмоциональной, выразительной речи, умением приковать к себе внимание любой аудитории, Константин Аксаков

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 221.

937122

подумывает о том, чтобы занять университетскую кафедру и с ее высоты прямо и открыто нести молодому поколению будущей России идеи славянофильства. С этой целью он готовит, в 1846 году издает и 6 марта 1847 года защищает диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» на степень магистра русской словесности, где доказывает, что творчество Ломоносова представляет собою важный момент в историческом развитии отечественной поэзии — момент перехода от периода исключительно устного народного творчества к профессиональной литературной деятельности, «изящной» поэзии. Перед молодым ученым открывалась дорога на кафедру. Но в Московском университете вакансий не было, а уезжать из дому в другой город не хотелось, и тогда Константин Аксаков целиком отдается литературно-художественному творчеству. Он пишет пьесы, публицистические и критические статьи, исторические и филологические сочинения, отстаивает и пропагандирует преимущества русского быта и русской одежды перед иностранными.

Его литературно-критические выступления всегда отличались оригинальностью и неизменно вызывали на спор. Так было и с брошюрой «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души», опубликованной еще в 1842 году, так было и с тремя статьями, помещенными в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год», и другими его публикациями, посвященными современной ему русской литературе.

Внимательно следила за его деятельностью и царская цензура. Запрещается после первой постановки 14 декабря 1850 года — в день 25-летия восстания на Сенатской площади, что носило в известной мере символический характер, — его драма «Освобождение Москвы в 1612 году». Особенно возмутительными властям показались слова: «Глас народа — глас божий», а также мысль о том, что именно в народе вся правда жизни и вся сила страны и что презирать народ, возвышаться над ним — недопустимо — это прямой путь к потере свободы и независимости, к гибели государства.

Неудачей оканчивается и попытка опубликования в 1852 году статьи о богатырях великого князя Владимира. Цензору показались «неприличными» процитированные автором строки:

Собака, проклятый ты, Калин-царь.
Вас-то, царей, не бьют, не казнят.
Не бьют, не казнят и не вешают.

Хотя это и неприятельский царь, но все-таки царь, заметил цензор (без процитированных нами слов и с некоторыми другими купюрами статья увидела свет лишь три года спустя). Недопустимой посчитал цензор и «дерзость» автора статьи противопоставлять богатырей «великому князю»¹.

Талант Константина Аксакова как литературного критика и публи-

¹ См. об этом: Венгеров С. А. Собр. соч., т. 3. Спб., 1912, с. 57—58.

циста ярко раскрывается во второй половине 50-х годов на страницах славянофильских изданий — «Русской беседы», «Молвы» и «Паруса». Широкую известность приобрели его передовицы в «Молве» — броские, афористичные, открыто вызывающие своим подчеркнутым народолюбием и категоричностью суждений. «Слово — это знамя человека на земле... Спор и борьба — это неотъемлемая принадлежность самоотражающегося человечества», — провозглашалось в одной из них; «Народ есть ... великая сила...», — говорилось в другой; «Народность есть личность народа», — утверждалось в третьей и т. д.¹

Венцом публицистической деятельности К. Аксакова становится статья «Опыт синонимов. Публика — народ» (1859), резко обличающая образ жизни правящих сословий. В ней говорилось: «Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки: народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ — по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ — в русском. У публики — парижские моды. У народа — свои русские обычаи... Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большею частью ногами по паркету), народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ, народ прощает публике. Публике всего полтора года лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща: народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте; в народе — золото в грязи... «Публика, вперед! Народ, назад!» — так воскликнул многозначительно один хожалый»².

Поместившая эту статью газета «Молва» быстро прекратила свое существование.

Полный силы и здоровья, богатырского телосложения, Константин Аксаков был в буквальном смысле сражен смертью отца, последовавшей 30 апреля 1859 года. Не стало «отесеньки» — так ласково, уменьшительно, от слова «отец», называли в их семье Сергея Тимофеевича. Привязанность сына к отцу была настолько велика, что он не смог перенести утраты. Охватившая его невыносимая тоска скоро перешла в чахотку. Его повезли лечиться за границу, где он и умер на греческом острове Занте в ночь на 7 декабря 1860 года. Похоронили Константина Аксакова в Москве в Симоновом монастыре рядом с отцом.

На смерть К. С. Аксакова специальной статьей откликнулся Герцен, немало страниц посвятил он Аксакову и в «Вылом и думах», воздав должное этому, по его словам, «воину», вся жизнь которого «была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа... За свою веру, — писал Герцен, — он пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедитель-

¹ Подробнее об этом см.: Старикова Е. В. Литературно-публицистическая деятельность славянофилов, с. 162—165.

² «Молва», 1859, № 36, с. 410—411. В письме к Н. В. Гоголю Аксаков вместо «хожалый» поставил «полицмейстер». — «Русский архив», 1890, № 1, с. 154.

ными»¹. Это сильное нравственное влияние не только идей, но и самой личности К. Аксакова отмечали многие современники².

В отличие от домоседа Константина, Иван Аксаков если и не имел «охоты к перемене мест», то во всяком случае никогда не отказывался от дальних и продолжительных поездок. И учился он не в Москве, а в Петербурге, и не в старинном, а в новейшем учебном заведении — закрытом императорском училище правоведения, где готовились чиновники для высших постов царского административного аппарата. Пробыв в училище четыре года и окончив его в 1842 году, Иван Аксаков возвращается в Москву и поступает на службу в Уголовный департамент Сената, мечтая о карьере чиновника, о том, как он будет на этом поприще приносить пользу своему отечеству.

Усердие Ивана Сергеевича было замечено, и в конце 1843 года его включают в состав специальной комиссии, предназначенной для ревизии Астраханской губернии, куда он и отправляется. Но, увы, радость молодого чиновника была недолгой: все его радужные мечты и надежды были разбиты уже при самом первом столкновении с действительностью. «Я решительно убеждаюсь, — с горечью замечал он, — что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, т. е. не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон»³.

После возвращения из Астрахани Иван Аксаков получает назначение на должность товарища председателя Калужской Уголовной палаты и почти на два года уезжает в Калугу. Осенью 1848 года он переходит на службу в министерство внутренних дел и тут же отправляется с секретным поручением в Бессарабию: изучает раскольничьи секты. Зимой и весну 1849 года он проводит в Петербурге.

4 марта 1849 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость славянофил Ю. Ф. Самарин, выступивший в своих «Письмах из Риги», которые получили широкое распространение в рукописи, с критикой прибалтийских дворян-немцев, а 17 марта такая же участь постигла Ивана Аксакова (правда, до крепости дело не дошло), который посмел в своих письмах к московским друзьям возмутиться арестом Самарина и советовал им быть поосторожнее. Письма были перехвачены полицией и дали основание подозревать в их авторе и адресатах участников какого-то заговора против правительства. Найти «подпольную организацию» не удалось, тем не менее Самарин был сослан в Симбирск, а Иван Аксаков милостиво отпущен... под негласный надзор полиции.

Вскоре Ивана Аксакова перевели на службу в Ярославль, а попросту говоря, отправили подальше от Петербурга.

Вместе с осознанием двусмысленности своего положения — правительственного чиновника, находящегося под полицейским надзором, и растущим неприятием бюрократической системы государственного и административного управления в Иване Аксакове крепнет чувство протеста

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9, с. 163.

² См.: Ранние славянофилы, с. XXVI.

³ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 227.

против всей самодержавно-крепостнической действительности. В декабре 1849 года он пишет:

Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне:
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне!

В эти же годы получают распространение в списках отрывки из его поэмы «Бродяга», над которой он работал с 1846 года. Объясняя, почему он «избрал беглого человека предметом сочинения», Иван Сергеевич писал: «Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным, оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни, оттого, что бродяга, гуляя по России как дома, дает мне возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах...»¹

Министр внутренних дел Л. А. Перовский, которому Иван Аксаков подчинялся по службе, выразил недовольство подобными стихотворными занятиями своего чиновника и потребовал, чтобы тот, «оставаясь на службе, прекратил авторские труды»². Чаша терпения Ивана Сергеевича была переполнена, и в феврале 1851 года вместо ответа на письмо министра он подает в отставку.

Оставляя службу навсегда, он в стихотворении «Моим друзьям, многим честным людям, состоящим в государственной службе» обращается с призывом к этому «малочисленному союзу

Мужей без страха и без лести,
Себя добром взаимных уз
Скрепивших для добра и чести!» —

которым приходится работать

В среде бездушной, где закон
Орудье лжи, где воздух смраден
И весь неправдой напоен, —

внимать «мольбе слабых», «мстить бедного обиду».

Однако деятельная натура Ивана Сергеевича не позволяла ему долго сидеть сложа руки, и он с готовностью принимает предложение взять на себя редактирование славянофильского «Московского сборника». Первый том (а всего предполагалось издать четыре) вышел в 1852 году и сразу же привлек к себе внимание не только литературной общественности, но и царской цензуры, всерьез озабоченной его направлением, выраженным прежде всего в статьях самого редактора — «Несколько слов о Гоголе» и «Об общественной жизни в губернских городах».

В первой статье, открывшей сборник, была дана, вопреки цензурным распоряжениям, восторженная оценка творчества великого русского пи-

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 2, с. 162.

² Там же, с. 395.

сателя как «подвига жизни», подвига чистого, высокого и искреннего, несмотря на ошибку издания его «Выбранных мест из переписки с друзьями». Во второй И. Аксаков «яростно и со знанием дела» обличал провинциальное дворянство, своим «обличительным пафосом» напоминая «художественные произведения молодого А. И. Герцена»¹.

Второй том «Московского сборника» вообще был запрещен, рукопись его конфискована, а авторам, среди которых находились виднейшие славянофилы, в том числе Константин и Иван Аксаковы, было высочайше повелено все свои сочинения «представлять отныне для цензуры не в Московский цензурный комитет, а в *Главное управление цензуры*, в Петербург», что было равносильно запрету печататься. Сверх того, Иван Аксаков лишался «на будущее время права быть редактором какого бы то ни было издания»². Этот запрет сохранялся до конца царствования Николая I.

Вынужденное бездействие тяготило и угнетало Ивана Сергеевича. Он просится в кругосветное путешествие на военном корабле — ему отказывают. С огромной охотой принимает он предложение Географического общества изучить и описать украинские ярмарки и в конце 1853 года на целый год отправляется на Украину. Через четыре года его «Исследование о торговле на украинских ярмарках» было опубликовано и удостоено большой медали Общества и «половинной премии» Академии наук.

Осенью 1854 года началась одиннадцатимесячная героическая оборона русскими войсками Севастополя в Крымской войне, и 18 февраля 1855 года Иван Аксаков, которому, как он писал родителям, «совестно» было находиться дома, когда «люди дерутся и жертвуют»³, записывается в Серпуховскую дружину Московского ополчения. Вместе с дружиной он совершает поход на Одессу и дальше — в Бессарабию. Потом некоторое время работает в комиссии по расследованию интендантских злоупотреблений во время войны, а затем, в начале 1857 года, уезжает за границу.

Там по приглашению Герцена он посещает Лондон и становится на какое-то время одним из тайных герценовских корреспондентов. Великому революционеру-демократу была близка не только политическая оппозиционность Ивана Аксакова, но и критическая направленность его художественного творчества. Именно по инициативе Герцена увидели свет два самых обличительных произведения И. Аксакова. В марте 1858 года в «Полярной звезде» появляются его «судебные сцены» — «Присутственный день уголовной палаты», — которые Герцен назвал «превосходным произведением» и «гениальной вещью»⁴. Разоблачавшие всю систему царского судопроизводства, эти «сцены» сыграли «заметную роль в форми-

¹ Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России, с. 45.

² Аксаков Иван. Стихотворения и поэмы. Л., 1960, с. 32.

³ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 3, с. 112.

⁴ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 13, с. 427; т. 26, с. 137.

ровании антикрепостнических настроений, в подрыве устоев существующей системы общественных отношений»¹. В 1861 году Герцен публикует еще одно сочинение Ивана Аксакова — мистерию «Жизнь чиновника»², которая была написана молодым автором в 1843 году и отличалась сатирическим изображением русского чиновничества. Такого рода произведение не могло быть издано в России; оно получило распространение в списках, один из которых и попал в Лондон. Естественно, что оба сочинения увидели свет без имени автора.

Вернувшись в конце 1857 года на родину, Иван Сергеевич с головой уходит в литературную и общественную деятельность. Он принимает участие в издании славянофильского журнала «Русская беседа», став с лета 1858 года его фактическим редактором. Является инициатором организации славянских благотворительных комитетов, в работе которых затем играет ведущую роль. Получает разрешение на издание газеты «Парус». Она начала выходить с января 1859 года, но была закрыта уже на втором номере, лишь только Иван Аксаков пообещал в следующем номере начать разговор о «самом крупном явлении современной истории», о преобразовании «самом существенном, самом жизненном, громадном по своему размеру, необъятном по своим последствиям» — об «уничтожении крепостного права»³. «Вы не можете себе представить, — жалуется он в одном из писем того времени, — как вообще Петербургу ненавистна и подозрительна Москва, какое опасение и страх возбуждает там слово: народность. Ни один западник, ни один русский социалист так не страшен правительству, как московский славянофил, никто не подвергается такому гонению...»⁴. Определение несколько преувеличенное, но не безосновательное.

Весною того же года умирает его отец, затем прекращает свое существование «Русская беседа»; отказывают Ивану Сергеевичу и в просьбе об издании новой газеты — «Дело». Было от чего прийти в отчаяние. И Иван Аксаков в январе 1860 года уезжает за границу. Вернулся он домой в начале 1861 года, привезя с собою в Москву тело умершего на острове Занте брата. Оказавшись на родине в самый разгар предреформенных баталий, И. Аксаков сразу же включается в литературно-общественную борьбу, которая не прекращается до последних дней его жизни.

В 60-е годы он издает газеты «День» (1861—1865) и «Москва» (1867—1868), на страницах которых открыто критикует внутреннюю и внешнюю политику царизма, особенно в области национальной экономики и в «славянском вопросе». Издание этих газет неоднократно приостанавливалось царским правительством на срок от трех до шести месяцев. В результате «День» был вынужден вообще прекратить свое существование, а «Москва» в конце концов просто была закрыта.

¹ Ш а т а л о в С. Е. Драматические произведения славянофилов. — В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 447.

² См.: Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861.

³ «Парус», 1859, № 2, 10 января, с. 18.

⁴ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 4, с. 18.

В 70-е годы широко развернулась деятельность Ивана Аксакова как руководителя Московского славянского комитета¹. Он принимает непосредственное и самое активное участие в оказании помощи Сербии и Черногории в их войне против Турции, начавшейся в 1876 году. От имени комитета он пишет воззвание к «русской общественной совести», помогает переправлять через границу генерала М. Г. Черняева и отряды русских добровольцев, организует заем сербскому правительству и сбор средств на нужды сербской армии. Московскому славянскому комитету удалось собрать около 800 тысяч рублей, из которых, как отмечал Иван Аксаков, «две трети пожертвований внес ... наш бедный, обремененный нуждою, простой народ...»².

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Иван Аксаков проводит огромную работу по сбору средств, покупке оружия и переправке его болгарским дружинам. Это «стало его весомым вкладом в борьбу за освобождение балканских славян»³. 22 июня 1878 года Иван Сергеевич выступил на Собрании Московского славянского благотворительного общества (так с осени 1876 года стали называться славянские комитеты) с резкой критикой решений Берлинского конгресса и позиции, занятой на нем русской делегацией. Позор, заявил он, «Русь-победительница сама добровольно разжаловала себя в побежденную», а сам конгресс есть «не что иное, как открытый заговор против русского народа», против «свободы болгар», «независимости сербов»⁴. Царская реакция последовала незамедлительно: Аксаков был выслан из Москвы, а Славянские благотворительные общества вообще ликвидированы.

Речь Ивана Аксакова стала вершиной его публицистической деятельности, принесла ему «международную известность и признание всех славянских народов, страдавших от турецкого и австрийского гнета»⁵. Огромное впечатление произвела она на болгарские демократические круги, внесла заметный вклад в укрепление дружбы наших народов, а часть прогрессивно настроенной болгарской молодежи даже выдвинула его кандидатуру на болгарский престол⁶. Одна из центральных улиц Софии с тех пор носит имя Ивана Аксакова.

В последние годы жизни, получив разрешение на издание газеты «Русь» (1880—1886), Иван Аксаков возвращается к активной литературно-общественной деятельности. Однако вскоре и над этой его газетой также нависает угроза закрытия. Положение публициста, издателя, редактора, постоянно не уверенного в завтрашнем дне, удручающе действует на Аксакова. «Как трудно живется на Руси!.. — горько вырывается у него в одном из последних писем. — Есть какой-то нравственный гнет, какое-

¹ Подробнее об этом см.: Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858—1878 годах. М., 1960.

² Аксаков И. С. Соч., т. 1. М., 1886, с. 228.

³ Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России, с. 238.

⁴ Аксаков И. С. Соч., т. 1, с. 297—308.

⁵ Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России, с. 246.

⁶ Там же,

то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не дает установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования. Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадежности, беспроглядности давят нас»¹.

Предчувствие грядущей расправы на этот раз оказалось для Ивана Сергеевича роковым: сердце его не выдержало и 27 января 1886 года остановилось...

4

Литературное наследие Ивана и Константина Аксаковых довольно значительно по объему и разнообразно в жанровом отношении. Богато одаренные натуры, как и их старшие товарищи И. В. Киреевский и А. С. Хомяков, братья Аксаковы оставили после себя стихи и драмы, публицистические и литературно-критические сочинения, научные исследования и дружеские послания. И везде бьется их живая, самостоятельная, оригинальная, хотя и нередко спорная, мысль. Бесспорными были любовь к народу и стремление придать нашей литературе подлинно народный характер.

Славянофилы не были первыми, кто обратил внимание на разрыв между нашей литературой и народом. Об этом говорили и Н. М. Карамзин, и декабристы, и В. Г. Белинский в «Литературных мечтаниях». Но, начав с общих, свойственных и романтической критике 20—30-х годов деклараций о необходимости сближения писателей и литературы с жизнью народа, славянофилы в дальнейшем конкретизировали свое требование: не вообще народа, а крестьянской массы, которая одна, по их мнению, является хранительницей извечных национальных, самобытных русских черт и традиций, «своеродного» общественного и семейного быта. Именно живое общение писателей с этой громадной частью трудового народа России содействовало появлению очерков народной жизни В. И. Даля, которые высоко оценивал Белинский, и «Записок охотника» И. С. Тургенева, давшего величественный собирательный образ русского крестьянина.

Деятельность славянофилов способствовала становлению в литературе нового героя, представителя трудового, подневольного, но великого народа, которому действительно принадлежало будущее, углубляя тем самым процесс дальнейшей демократизации русской литературы, начатый «натуральной школой». И хотя славянофилы не принимали идейно-художественных принципов и поэтики этой школы и вели с ней яростную борьбу, однако объективно, выступая за сближение литературы с народной действительностью, они продолжали дело, начатое именно писателями «натуральной школы».

Борьба за народность литературы, национальную самобытность ее содержания и художественных форм, за главенствующее место в ее

¹ Цит. по кн.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России, с. 255.

произведениях русской жизни и русского народа, простого человека, крестьянина — кормильца земли русской, — составила заметный вклад славянофильской критики в развитие отечественной литературы, в ее утверждение на пути самобытности и оригинальности. В первых рядах борцов за такое «крестьянское направление» нашей литературы шли братья — Константин и Иван Аксаковы.

Исходным для их критики было понятие о народности, в основе которого лежало ими же разрабатываемое учение о народе. «Народ, — писал Константин Аксаков, — есть та великая сила, та живая связь людей, без которой и вне которой отдельный человек был бы бесполезным эгоистом, а все человечество — бесплодною отвлеченностью»¹. Сердцевину любого народа составляет «простой народ», или, как уточняет он, «народ собственно». Именно «простой народ, — говорил К. Аксаков, — есть основание всего общественного здания страны. И источник вещественного благосостояния, и источник внешнего могущества, источник внутренней силы и жизни, и, наконец, мысль всей страны пребывают в простом народе. Отдельные личности, возникая над ним, могут, на поприще личной деятельности, личного сознания, служить с разных сторон делу просвещения и человеческого преуспевания; но только тогда могут они что-нибудь сделать, когда коренятся в простом народе, когда между личностями и простым народом есть непрерывная живая связь и взаимное понимание»².

Что же делает простой народ такой могучей основой страны? Неустанный, повседневный труд. «Труд, — писал Константин Аксаков, — есть долг человека, есть его нормальное состояние на земле. Только труд дает право на наслаждение жизнью. Каков бы ни был труд: вещественное ли это обрабатывание земли, работа ли это напряженной мысли — все равно. *В поте лица снести хлеб свой* — вот удел и долг человека. Жизнь не есть удовольствие, как думают некоторые: жизнь есть подвиг, заданный каждому человеку, жизнь есть труд»³. Ту же самую мысль Иван Аксаков выразил прекрасными стихами, предвосхищая во многом один из ведущих мотивов поэзии Некрасова:

Прямая дорога, большая дорога!
Простору немало взяла ты у бога,
Ты вдаль протянулась, пряма как стрела,
Широкою гладью, что скатерть, легла!
Ты камнем убита, жестка для копыта,
Ты мерена мерой, трудами добыта!
В тебе что ни шаг, то мужик работал:
Прорезывал горы, мосты настилал;
Все дружною силой и с песнями взято, —
Вколачивал молот и рылась лопата,
И дебри топор вековые просек...
Куда как упорен в труде человек!

¹ Москва, 19 апреля. — «Молва», 1857, № 2.

² Москва, 7 июня. — «Молва», 1857, № 9.

³ Москва, 23 августа. — «Молва», 1857, № 20.

«Царем и господином» природы, душа которого «свободно вмещает» ее в себе, назвал Иван Аксаков русского крестьянина¹.

Такое представление о простом народе, о труде, о русском крестьянине лежало в основе понятия о народности, разделяемого Константином и Иваном Аксаковыми. «Народность есть личность народа, — говорил Константин Сергеевич. — Точно так же, как человек не может быть без личности, так и народ без народности»². Славянофилы решительно выступали за расцвет всех, без исключения, наций и народностей. «Да, — утверждал Константин Аксаков, — нужно признать всякую народность, из совокупности их складывается общечеловеческий хор. Народ, теряющий свою народность, умолкает и исчезает из этого хора. Поэтому нет ничего грустнее видеть, когда падает и никнет народность под гнетом тяжелых обстоятельств, под давлением другого народа. Но в то же время какое странное и жалкое зрелище, если люди сами не знают и не хотят знать своей народности, заменяя ее подражанием народностям чужим, в которых мечтается им только общечеловеческое значение!» И далее: «Нет, пусть свободно и ярко цветут все народности в человеческом мире; только они дают действительность и энергию общему труду народов. Да здравствует каждая народность!»³.

Отсюда у Аксаковых представление о народности как одной из важнейших и неотъемлемых частей литературы. «Искусство в слове, поэзия... — писал Константин Аксаков, — необходимо соединено с народностью... Все бессмертные создания поэзии, доступные всему человечеству, носят на себе живую печать народности»⁴. Народна «Илиада» Гомера, народны все произведения Шекспира, утверждает К. Аксаков. Мысль о том, что народность литературы предполагает, прежде всего, выражение народного взгляда на вещи, на окружающую действительность и не вообще народа, а народа трудового, была для Константина и Ивана Аксаковых основополагающей в оценке ими произведений отечественных писателей.

Литературно-критическое наследие братьев Аксаковых невелико, но в то же время необычайно емко, своеобразно, целенаправленно. У них не было ни одной, как говорится, проходной статьи или рецензии: за критическое перо они брались лишь в тех случаях, когда чувствовали крайнюю необходимость высказаться по поводу того или иного, как правило, задевшего их за живое, произведения, книги, сборника. Отсюда ярко выраженная публицистичность практически всех их критических выступлений.

Стремясь направить развитие русской литературы по пути освоения ею самобытного, национального содержания, славянофилы не могли не задумываться о тех художественных формах, в которых полнее всего возможно выражение такого содержания. В какой форме жизнь России с ее необозримыми просторами, полями, степями, лесами, морями и река-

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 444.

² Москва, 10 мая. — «Молва», 1857, № 5.

³ Там же.

⁴ Москва, 21 июня. — «Молва», 1857, № 11.

ми, с ее могучим и великим народом и его глубокой, еще не высказанной «тайной жизни» может воплотиться наиболее цельно и художественно? Только в эпосе, считали они. И первым эту мысль высказал Константин Аксаков в брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души».

Задача всестороннего изображения жизни, полагал он, требует от современного художника непредвзятого, сочувственного к ней отношения, с глубоким пониманием значения и сущности жизни народа, что и составляет, как писал он в своей брошюре, основу простого, эпического созерцания. В этом отношении — «по акту творчества», как выражался Константин Аксаков, — Гоголь равен Гомеру. Веря в великое будущее России и русского народа, в то, что именно в нашей стране начнется процесс духовного и нравственного возрождения человечества, славянофилы верили в то, что именно русским писателям суждено возродить вот такое эпическое, народное по своему характеру воззрение на мир, а вместе с ним и всеобъемлющее, эпическое отражение действительности.

Говоря об «акте творчества», Константин Аксаков в своей брошюре фактически ставил проблему художественного метода, а развивая мысль о «простом, эпическом созерцании», — касался непосредственно проблемы художественного реализма как объективного, всестороннего изображения жизни.

Известно, что Белинский резко полемизировал с основными положениями брошюры Аксакова. «Итак, — иронически замечал он в рецензии на брошюру, — эпос не развился исторически в роман, а *снизошел* до романа!.. Поздравляем философское умозрение, плохо знающее фактическую историю!.. Итак, роман есть не эпос нашего времени, в котором выразилось созерцание жизни современного человечества и отразилась сама современная жизнь: нет, роман есть искажение древнего эпоса?.. Уже и современное-то человечество не есть ли искаженная Греция?.. Именно так!..» Что же касается вопроса о близости «Мертвых душ» древнему эпосу, то К. Аксаков, пишет Белинский, «обольстившись умозрениями собственного изобретения, навязал поэме Гоголя значение, которого в ней и вовсе нет», потому что «в смысле поэмы «Мертвые души» диаметрально противоположны «Илиаде». В «Илиаде» жизнь возведена на апофеозу: в Мертвых душах она разлагается и отрицается...» и так далее¹.

Конечно, это совсем не значит, что Константин Аксаков в своей брошюре был во всем неправ: в его суждениях много верного и справедливого, но в условиях литературно-общественной борьбы 40-х годов русской литературе нужен был не просто реализм, не спокойное «созерцание», а реализм критический, судящий, выносящий приговор, поэтому великий критик выступил против аксаковской теории, которая представляла собою не что иное, как учение о беспристрастном художественном реализме, уводящем писателей от оценки окружающей действительности.

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1955, с. 254, 255.

Брошюра «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души» принесла Константину Аксакову известность как критику, одновременно раскрыв в нем и оригинального теоретика литературы. Затем были статьи и рецензии в «Москвитянине», «Московском литературном и ученом сборнике», «Русской беседе», «Молве» и «Парусе», где произведения литературы рассматривались прежде всего с точки зрения их народности. Константин Аксаков с этой позиции критиковал повесть В. Ф. Одоевского «Сиротинка», называя ее «оскорбительной», так как здесь о народе, утверждал он, говорит «писатель, народу совершенно чуждый, совершенно от него оторванный, лицо отвлеченное, как все, что оторвано от народа», писатель, «полный чувства своего мнимого превосходства». Открыто возмущается Константин Аксаков любым сочувственным изображением «душевладецов». С нескрываемой неприязнью говорит он, например, о поэмах И. С. Тургенева «Разговор» и «Помещик», считая, что произведения, изображающие жизнь дворян, не могут придать отечественной литературе народного характера. И он же приветствует рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч», называя его «превосходным». «Вот, что значит прикоснуться к земле и к народу: в миг дается сила!» — восклицает критик.

С радостью отмечал К. Аксаков, что отечественные писатели все решительнее поворачиваются лицом к народу, что в них заговорило «родное чувство и родилось желание изобразить русского крестьянина во всем его великом человеческом достоинстве» («Обозрение современной литературы»).

Константин Аксаков убежден, что цель искусства — сделать человека лучше. И вот он пишет статью о поэтике подвига русских былинных богатырей и затем в небольшой рецензии на повесть Н. Кохановской проводит мысль о том, что во всякое время в жизни каждого человека есть место подвигам; мысль, которая позднее с такой отчетливостью прозвучала в рассказе А. М. Горького «Старуха Изергиль». Не утратило своего значения и положение, высказанное критиком в рецензии на «Народное чтение». Возмущенный тем, что «гда великодушные литераторы» предлагают народу не подлинное искусство, а «жеванное», он утверждает: «...народ имеет право на все чтение, на все выходящие книги... Вместо того, чтоб писать какие-то сочинения исключительно для народа, пусть лучше литература наша постарается быть народной...»

Менее известен как литературный критик Иван Аксаков. И это понятно. Если критические выступления Константина Аксакова приходятся в основном на 40—50-е годы, став заметным фактом литературно-общественной борьбы тех десятилетий, то сравнительно немногочисленные литературно-критические статьи, заметки и речи Ивана Аксакова рассредоточены на довольно большом отрезке времени — более тридцати лет и как бы теряются среди обширнейшей его публицистики, которая наряду с поэзией оставалась преимущественной сферой его творческой деятельности. Заявив о себе как критику в 1852 году статьей на смерть Гоголя, известную речь о Пушкине он произносит по случаю открытия

памятника поэту в Москве в 1880 году, а надгробное слово Тургеневу — в 1883 году.

Опираясь на творчество корифеев отечественной литературы, И. Аксаков призывает молодых писателей учиться у Пушкина народности, у Тургенева — «опрятности», целомудренности, у Жуковского — поэтичности, не забывая при этом о необходимости прочувственного отражения русской жизни, высоких качеств и нравственной чистоты нашего народа.

Заметное место в литературном наследии Ивана Аксакова занимает обширная «Биография Федора Ивановича Тютчева», где не только освещены основные вехи жизни и деятельности поэта, но и самым подробнейшим образом проанализированы основные мотивы его лирики. Суждения Ивана Сергеевича имеют еще и ту ценность, что это свидетельство почти из первых рук: женатый на старшей дочери Тютчева, он был, как говорится, своим человеком в тютчевском доме и тютчевском мире.

Нельзя не отметить одну стержневую мысль, которая проходит через все литературно-критические выступления Ивана Аксакова: «Русская земля не оскудеет талантами...» К этой плеяде талантливых людей земли русской принадлежали и братья Аксаковы.

Конечно, далеко не со всеми суждениями, которые Константин и Иван Аксаковы высказывали о произведениях современной им литературы, можно согласиться, да и опровергать их сегодня уже нет никакой необходимости: они давно стали достоянием истории и интересны в основном как факты литературно-общественной борьбы 40—50-х годов XIX века. Как справедливо замечает современный исследователь, «неразумно видеть в этом наследии мировоззренческий фундамент современной литературно-критической деятельности», однако «знать, изучать их необходимо, брать все живое, гуманистическое, выдержавшее испытание временем, связанное с элементами демократизма и антикрепостничества — полезно»¹.

А. С. Курилов

¹ Кузнецов Феликс. Истина истории. — «Москва», 1981, № 1, с. 199.

может, хотя отчасти, быть указано (напр<имер>, общественный быт народа, язык, обычаи, песни). Но и к нему вы должны относиться свободно; воззрение народное тогда только ваше самостоятельное воззрение, когда вы его свободно или разумно (что все одно) примете.

III. Каким образом может возникнуть народное воззрение?

Через освобождение себя от чужого умственного авторитета, через убеждение в необходимости и праве своей самостоятельности. Как скоро вы (обращаемся ко всем т<ак> н<азываемым> образованным людям, принадлежащим к русскому народу) откинете воззрение заемное, то возникает свое, если вы не лишены возможности иметь его, — чего допустить было бы невозможно. Как скоро вы поглядите *сами*, то и увидите *сами*, если вы не лишены зрения, чего опять нельзя допустить.

IV. Великим вспоможением к освобождению от умственного плена, от подражательности и к очищению нашего самостоятельного воззрения, — служит древняя русская история, до известной подражательной эпохи, и современный быт народа, так называемого простого народа.

Скажем в заключение: мы вовсе не думаем, чтоб народное воззрение дичилось и отворачивалось от чужого. Напротив, совершенно напротив! Народность или самостоятельность не в предмете содержания, а в самом содержании. Нет! Народность смотрит на весь мир. Все предлагайте разумению, ничего не отвергайте без критики, не бойтесь знания, *вся испытайте*, как говорит Апостол⁵.

Вот наше мнение. Просим судить о нем не по отдельной всякой фразе, а по целому изложению всего мнения.

Мне кажется, что далее вести этот спор было бы уже едва ли не бесплодно и не утомительно. Я здесь его прекращаю. Мы можем встретиться с противоположным нам образом мыслей в областях знания, более определенных; в истории, в этнологии, в эстетике и пр.

ОБОЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Полтора́ста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело от-

казаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев. Несмотря на то, дело, хотя и не вполне, удалось. Вольность нравов европейского Запада, новые средства к удовлетворению личного эгоизма, наконец блестящая сторона европейского просвещения и уже готовая, чужими руками изготовленная, умственная пища, которую, казалось, оставалось только глотать, — все это подействовало, и от самостоятельности в России отказались, впрочем, только верхние классы. У них-то явилась и новая наша литература.

Возникшая в эпоху западноевропейского классицизма, заимная литература наша служила ему верным отражением. Европейский классицизм был в свою очередь безжизненное поклонение древнему миру, который Европа поняла по-своему и который мы поняли по-европейски. Эта классическая литература Европы, подражая древнему миру, уже лишенному жизни, была неподвижна: переменялись только авторы, различие являлось только в их личных талантах. Наша послушная литература, вдвойне подражательная, была в ту эпоху тоже неподвижна. В таком положении оставалось дело до Карамзина. Между тем в европейской литературе произошел переворот; призрак классицизма, хранимый преимущественно во Франции, разлетелся, литература европейская двинулась своим путем. В это время в русской литературе явился Карамзин. Карамзин уничтожил это двойственное подражание и предложил лучше подражать самой Европе. Тяжесть двойных оков была крайне неудобна, и с радостью вняла наша литература гласу нового деятеля, нового подражателя. С этой эпохи, с Карамзина, литература наша, наоборот, сделалась подвижна в высшей степени, ибо элемент подражания был не классицизм европейский, а сама Западная Европа, в совокупности всех своих народов. Подражать было здесь гораздо легче, приятнее и интереснее, — и вот дело пошло живее. Переимчивость составила с этих пор характеристику нашей литературы. Достаточно этой быстроты перемен для того, чтобы оценить и понять смысл и достоинство нашей словесной деятельности. Мы знаем, что серьезный и самобытный ход иначе движется, что, при глубине общего основания, нелегко отделяются от одного убеждения и принимают другое. Но литература наша — собрание чужих форм, разных отголосков, и только. Вот почему так быстро меняются формы, не утвержденные на прочной мысли; вот почему беспрестанно переливаются отсветы и отблески, лишенные собственного света и блеска. Таланты, разумеется, у нас есть; но мы говорим не об отдельных талантах, а об общем ходе литературы, которого не изменяют и таланты.

Много переменилась наша литература в последнее двадцатипятилетие с той поры, когда еще издавался «Телеграф», «Телескоп», «Московский вестник»¹ и др<угие>. В течение 10—12 последних лет она перепробовала несколько направлений. Невольно с улыбкою смотришь на все эти кратковременные восторги. Давно ли гордо возвышалась «натуральная школа»? Но скоро она затихла и присмирела, как будто ей стало совестно, — и всем стало ясно, что она призрак. Почти не стоит нападать на произведения того или другого литературного направления или школы; не имея поддержки внутри, они падают собственным бессилием, собственным истощением. Наконец, литература наша пришла к современному состоянию. Думаем, что и современная ложь ее не замедлит обнаружиться и исчезнуть, и если погодить критиковать, то как раз и критиковать опоздаешь, ибо все падает само собою. Но дело, освещенное мыслию, получает свой смысл, и самое освобождение от лжи становится полезным тогда, когда сопровождается сознанием. Итак, вполне, уверенные в хилости и недолговечности современного состояния нашей литературы, не нуждающейся для своего падения в посторонней помощи, мы считаем в то же время нужным сказать о ней наше мнение и определить, как мы понимаем, ее значение. Просим не забывать, что статья наша не есть критика литературных произведений и их авторов, а только обозрение современной литературы*.

Теперь скажем прежде о том отделе литературы, в котором самое слово, по форме своей, уже принадлежит поэзии, т<о> <есть> о стихах, о языке богов, как называли их в старину.

Для поэта необходима полнота жизни, гармония в нем самом, некоторое, так сказать, *самодовольство*. Это не значит, чтобы поэт не гремел иногда проклятиями на целый мир, чтоб сам он не мучился разными внутренними муками; напротив, поэт часто страдает и терзается, плачет и проклинаят; но в нем есть полное наслаждение художественностью своего проклятия и своих слез. Стих гармонически разрешает его муку; перед ним не стоит нерешенный вопрос, неотступный, не дающий ему покоя, мешающий писать стихи. Поэт верит в искусство, поэт знает, что ему сказать, будет ли это слово утверждения, сомнения или отрицания: везде для него находится неизменная художественная красота и наслаждение поэзии. Все это можно назвать внутренним чувством гармонии,

* Сочинения С. Т. Аксакова стоят совершенным особняком в литературе нашей. Мы не говорим о них, по очень понятной причине. Все, что высказываем мы в статье нашей о литературе, не имеет никакого отношения к сочинениям С. Т. Аксакова, которые требуют особого определения, особой оценки и имеют свое особое значение среди нашей литературы.

проходящей тайно сквозь всякий разлад, или чувством самодовольства, если не дико покажется это слово.

Такова по-своему была прежде и русская поэзия. Поэты верили в поэзию, благоприобретенную ими от Западной Европы, писали искренно на чужой лад, и стихи писались звучно, весело, а публика с наслаждением слушала и повторяла их. Все эти условия необходимы для того, чтоб писать было можно. Общая отвлеченность и неправда всей заемной жизни не была понимаема, а разве только смутно чувствовалась немногими; напротив того, все казалось ясно; так было весело, и сладко, и легко служить постоянным и достойным отзывом великим поэтам Европы: Байрону, Шиллеру, Гёте. Долго неумолчная гармония стихов не переставала раздаваться в России.

Но в настоящее время зашевелились вопросы. Появилось сомнение, хорошо ли то подражательное направление, которому так долго и беззаботно мы следовали? Отвлеченность, неестественность всего строя общественной, иностранно поставленной, жизни нашей более или менее почувствовалась; пробудилась мысль о русской самостоятельности, и все, что мыслит в России, задумалось. С наших глаз стала спадать одна пелена за другою. Мы стали замечать, что вся умственная и литературная деятельность наша есть только повторение деятельности чуждой, лишена самобытности и... бесплодна. Мы стали понимать, что нам необходимо, конечно, принимать от соседей наших дельные сведения и науки, как необходимо приобретать все новейшие открытия и изобретения (так было и встарь на Руси), но что это заимствование может быть полезно только при своей самостоятельной умственной жизни; а догадливое перенимание чужих мыслей не есть еще самобытная деятельность ума. Мы заметили, что мы все перенимали, даже то, чего не следует, чего нельзя перенимать без совершенной утраты самостоятельности: перенимали мы образ мыслей, восторги, негодования, самую жизнь. Мы заметили, что жили чужим заемным умом, и догадались, что это не жизнь.

Где же жизнь?

Этот вопрос, эта потребность, а следовательно, и возможность жизни, жизни настоящей, самобытной, в нас пробудилась. Вместе с тем, как бы в ответ на вопрос, внимание наше обратилось ко всем самобытным проявлениям русской жизни, к древней истории, к обычаям народным, к устройству народной общности, к языку, ко всему, в чем высказывается Русь. Хотя и здесь различны точки зрения, хотя подражательный взгляд и здесь еще думает удержаться, но уже образовалось целое направление, в сущности очень простое, направление, основанное на том, что русским надо быть русскими, другими словами, что *без самостоятельности умственной*

и жизненной — все ложно. Если самостоятельности в нас нет и быть не может, то подобная истина для нас бесполезна, и нас не восстановить духовно. Если же у нас есть самостоятельность и только лишь подавлена или спит, то достаточно сознания в ее необходимости, чтоб она пробудилась сама. Поднят огромный вопрос для русских людей, вопрос: *быть или не быть?* Быть же не собою — для человека не значит быть.

При таком огромном, поднятом, но еще не решенном вопросе могут ли иметь место стихи и другие поэтические произведения? Мы сказали, что для поэтического творчества необходима известная степень самодовольства, внутренняя гармония. Но есть ли ей теперь место в человеке, означенном высоким талантом, следовательно, высокой степенью понимания? Исчезла прежняя вера в свое поэтическое направление, исчезла прежняя авторская беззаботность. Самая почва литературы колеблется под нами. Недоумение или разрешение вопроса — вот что занимает мысль и душу русского человека. Последний русский поэт отвлеченной подражательной эпохи, Лермонтов, уже касался раздумья, но он нашел убежище в странном самодовольстве, в самодовольстве сухого, холодного эгоизма, в котором окончательно выступило наружу все сокровенное зло прежнего отвлеченного направления. Нам скажут, пожалуй, что и теперь можно найти самодовольство в светском обществе, но это не то самодовольство, которое мы разумеем в настоящем случае; мы выражаем здесь этим словом личное чувство внутренней душевной гармонии, удовлетворяющееся собою, чувство возвышенное, в котором в то же время есть некоторый свой утонченный эгоизм. Тупое светское самодовольство, бывающее именно тогда, когда в душе пусто, не имеет с этой гармонией ничего общего; о тех, кто удовлетворяется светскою жизнью, конечно, говорить не стоит; на почве светской жизни, на этой бесплодной почве, ничто не рождается. Кроме состояния, которое испытывает человек перед лицом еще решаемых великих жизненных вопросов, состояния, не допускающего самодовольства и гармонии, является теперь сомнение в самой основе поэзии нашей и в способах ее выражения. При таких условиях поэзия, как живая современная сфера, как законное, соразмерное явление мысли, жизни, — невозможна.

И точно, мы видим мало поэтов (говорим теперь собственно о стихах, как о полнейшем выражении поэзии). Сочувствия они почти не возбуждают и кажутся какими-то анахронизмами. Стихотворения служат теперь скорее развлечением, не захватывая внутреннего существа человека. Прошедшая эпоха стихотворства также одиноко и уныло напоминает о себе. Лира Жуковского еще недавно звучала гармонически с берегов Рейна²; иногда раздадутся замысловатые, и подчас

полные чувства, стихи Вяземского, умные и колкие стихи М. Дмитриева или по-своему некогда мелодические стихи Ф. Глинки³. Грустно-приятное впечатление былой, просто-душно-счастливой эпохи производят эти стихотворения. Но как ни обеднело наше стихотворство, как ни ослабло к нему сочувствие, тем не менее есть поэты, о которых сказать необходимо, как по личному дарованию, так и по содержанию.

Принадлежа по времени к прошедшей эпохе стихотворства, г. Тютчев не теряет нисколько современности, по крайней мере в иных стихах своих. Недавно вышло собрание его стихотворений⁴, из которых многие написаны давно, но, вновь изданные и перечтенные, они доставили новое наслаждение. Г. Тютчев — это поэт, имеющий свою особенность. В его стихах замечаем мы несколько главных мотивов, которым подчиняются все или почти все его стихотворения, по крайней мере все те, которые имеют положительное достоинство. С одной стороны, сочувствие поэта направлено к природе, к этому вечно стройному миру, к его прекрасным явлениям, исполненным такого бесконечного спокойствия, как бы ни были они бурны и грозны; в особенности весна отражается со своею вечною прелестью в стихотворениях нашего поэта. С другой стороны, сочувствие поэта направлено к внутреннему миру человека, к тем таинственным глубинам и безднам души, где возникают призраки, где рождаются мечты, где носят видения, откуда исходит безумие, к миру не мысли ясной и не фантазии головы, но к миру снов, ощущений, предчувствий, какого-то таинственного осязания бесконечности, какого-то смутного чуяния беспредельности, невместимости, чуяния, граничащего с безумием, предошущающего хаос. Таковы прекрасные стихотворения «О чем ты воешь ветр ночной» (стр. 28), «День и ночь» (45), «Сон на море», «Вечер мгlistый и ненастный» (60) и др. Выпишем первое стихотворение:

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И ноешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимой,
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..

Никто, сколько мы знаем, не касался так выразительно этой психической стороны человека. Понятно, что поэт, для которого доступна эта тревожная сторона души, этот страшный разлад, этот внутренний ужас бесконечного, понятно, что такой поэт с увлечением бросается к природе и отдыхает на ее стройном, вечно неизменном и вечно разнообразном просторе. Ничто так не способно устроить возмущенную душу, как природа; в ней бьется ровный и мерный каданс, вносящий лад в тревожный личный мир, распутывающий путаницу ощущений. Но кроме этих двух стремлений нашего поэта, указанных нами, в нем есть иное. Он сочувствует историческому ходу человечества, он сочувствует народу, своему народу, его современным и грядущим судьбам, его назначению и призванию. Г. Тютчев понимает, что Россия должна быть **Россиєю, т<о> е<сть> землею славянскою** по своему происхождению и по своим духовным началам, понимает, что высшее неотъемлемое духовное начало России есть православная вера, что в качестве земли славянской, в качестве единой независимой славянской и православной державы, Россия составляет опору всего православного и славянского мира и соединена неразрывным сочувствием со всеми единоверцами и со всеми своими славянскими братьями, что это сочувствие есть жизненное условие ее бытия. С полным убеждением пишем мы эти строки, зная, что в исполнении православного и славянского призвания России лежит для нее вопрос ее собственной самостоятельности.

Вот наше мнение о г. Тютчеве как о поэте. Мы распространились более, нежели нужно это в общем обозрении, но г. Тютчев вполне этого заслуживает.

Есть еще поэт, принадлежащий по времени также к прошедшей эпохе, но поэт, для которого нет того или другого времени, которого дух и деятельность выше преходящих определений. Это Хомяков. Отношения г. Хомякова к «Беседе»⁵ не позволяют нам об нем распространяться и отдать полную ему справедливость. Но пусть говорят сами за себя его вдохновенные стихи, которые, кажется, наконец начинает общество ценить по достоинству.

Впрочем, нет причины не сказать нам о характере стихотворений Хомякова. Содержание, мысль у Хомякова большею частью не укладывается в стихотворение, переходит его пределы; содержание так широко, так стремится воплотиться в жизни, в действительности, в деле, что часто после прочтения стихов Хомякова бываешь преимущественно полон мыслию, в них высказанною.

Теперь переходим к современным поэтам.

Здесь опять отношения, весьма понятные, удерживают нас высказать наше мнение об одном из современных поэтов,

отличающемся в стихотворениях своих строгостью содержания и особенно скорбью о дрянности современного человека. Мы говорим об И. Аксакове.

Современные поэты, наиболее замечательные: это Некрасов, Полонский, Фет, Майков, Щербина, Стахович, гр. Толстой.

Стихотворения Некрасова означены какою-то сдержанною силою выражения, каким-то своеобразным стихом. Некоторые из прежних его стихотворений пропитаны едким цинизмом картин и чувств, цинизмом, принимаемым иными в их простодушии за энергию. Но справедливость требует сказать, что в последних его стихотворениях он имел силу освободиться от этой, вовсе не мудреной, грязи, которая въедается глубоко в того, кто ею не брезгует, и от которой трудно освободиться. В стихотворении его «Саша» и других является также сила выражения и сила чувства, но очищенная и движимая иными, лучшими стремлениями.

Г. Полонский обладает редким достоинством: стихом оригинальным и свежим; этот стих не всегда встречается в его стихотворениях, но там, где он встречается, он исполнен благоухания жизни, он исполнен такой простой выразительности, что передаваемое им явление всею тайною, всею правдою и поэзией своей жизни дышит перед вами; и иногда, это два-три-четыре стиха, и содержание их неважно само по себе; но важно здесь это поэтическое изображение, это передавание непередаваемого. Трудно определить именно, в чем достоинство такого стиха, но он есть у г. Полонского и, из пишущих, только у него одного; это, если можем сколько-нибудь так объяснить, это *поэтическая простота*. Возьмем для примера его «Аспазию», вот два стиха:

Площадь отсюда видна мне, покрытая
Тенью сквозных галерей.

Явление передано вполне со всею поэзией и простотою; вы видите, вы чувствуете эту тень, лежащую на площади, и в то же время вы наслаждаетесь ею не в действительности (тогда бы надо было просто, ничего не говоря, привести вас на эту площадь), а в поэзии, в новой действительности, даруемой словом человеческим. Таких стихов довольно у г. Полонского, и они всегда дают истинно поэтическое наслаждение. Мы сожалеем, что он выкинул из собрания своих стихотворений⁶ одну небольшую вещицу, помещенную в «Гаммах», в которой именно встречается тот стих, о котором мы сейчас говорили. У нас нет «Гамм», но мы, если не ошибаемся, помним следующие стихи; описывается ночь:

Лишь только ветер, под окном
Листы крапивы шевеля,

Густое облако с дождем
Несет на сонные поля.

Желаем, чтоб г. Полонский в новом издании своих стихотворений поместил все, какие ни писал он, без выбора, представляем читателям судить о них. Желаем также, чтобы он воздержался от поправок. В новом издании стихотворений «Бэда» исправлен, — и хуже!

Г. Фет и г. Майков, имеющие оба бесспорное дарование, не отличаются глубиной содержания. Хотя г. Майков затрагивает иногда глубокую тему, но тема и после написанного на нее стихотворения остается у него все только темой для стихотворений. Г. Фет и не касается глубокого содержания; любовь, любовь, любовь; милая, милая и милая: вот что на все лады, не уставая, воспевают г. Фет. Кроме этого, воспевают он и природу. Говоря собственно о стихе того и другого поэта, мы должны сказать, что он очень хорош, очень звучен и у г. Майкова подчас силен; но такие стихи не новость и не диковинка и очень большой цены не имеют. Простоты нет ни у того ни у другого; у г. Фета есть искусственная простота, которая, впрочем, не обманет верного эстетического чувства, как напр<имер>:

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало и пр.

Или наконец стихи, где искусственная верность доходит до крайности:

Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках¹.

Но г. Фету и его средствами удастся иногда удачно схватить картину природы, напр. в стихотворениях: «Уснуло озеро» (стр. 111), «Еще весны душистой нега» (160), «Жди ясного на завтра дня» (162); это стихотворение стоит выписать:

Жди ясного на завтра дня...
Стрижи мелькают и звенят,
Пурпурной полосой огня
Прозрачный озарен закат.

В заливе дремлют корабли,
Едва трепещут вымпела,
Далеко небеса ушли —
И к ним морская даль ушла.

Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.

Стихотворения г. Жемчужникова⁸, при очень свободном легком стихе, исполнены подчас значения и даже мысли верной и благой, останавливающей внимание читателя.

Звучный прекрасный стих, лишенный, впрочем, всякой особенности и показывающий только, до какой степени выработалось у нас стихотворное искусство, — вот все, что можно сказать о г. Мее⁹.

Стихотворения Щербины¹⁰ — это тоже прекрасные стихи, сделавшиеся доступным достоинством для многих. Сочувствие его преимущественно, и кажется до излишества, устремлено к древнему миру. Больше не имеем мы ничего сказать о г. Щербине.

Стихотворения г. Стаховича¹¹ имеют свою особенность. Стих его запечатлен чистосердечностью и задушевностью; он вырывается у него, как песня, — и как все искреннее, он пробуждает живое сочувствие в читателе, запоминается и не раз повторяется потом охотно.

В заключение скажем еще об одном поэте, который недавно довольно резко отделился от других: это гр. А. К. Толстой¹². Еще и прежде в прекрасных стихах его слышна была русская струна и русское сочувствие; но в прошлом году было напечатано несколько его стихотворений, чрезвычайно замечательных. Всего замечательнее по своему, особому какому-то, строю стиха баллада *«Волки»*, также *«Ой, кабы Волга-матушка да вспять побежала»* и *«Колокол»*. Хороши и стихи *«Дождя отшумевшего капли»*¹³, в них слышно раздумье о прошлых годах и какою-то искренностью звучат слова:

Не знаю, была ли в то время
Душа непорочна моя, —
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.

Все это прекрасные стихотворения, полные мысли, мысли, которая рвется за пределы стиха, а в наше переходное время только такие стихотворения и могут иметь настоящее живое достоинство. Но особенно хорошо стихотворение, или, лучше, русская песня *«Спесь»*. Она так хороша, что уже кажется не подражанием песне народной, но самою этою народною песнею. Чувствуешь, что вдохновение поэта само облеклось в эту народную форму, которая одела его, как собственная одежда, а не как заемный костюм. Одна эта возможность, чуть ли не впервые явившаяся, есть уже чрезвычайно важная заслуга; в этой песне уже не слышен автор: ее как будто народ спел. Хотя слишком дерзко отдельному лицу решать дело за народ, но осмеливаемся сказать, что, кажется, сам народ принял бы песню *«Спесь»* за свою. Приведем эту песню:

Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень.
Пузо-то у него все в жемчуге;
Сзади-то у него раззолочено.
Зашел бы Спесь к отцу, к матери:
Да ворота некрашены;
Помолился бы Спесь в церкви божией:
Да пол не метён.
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь в другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибаться.

Вот что думаем мы о наиболее замечательных современных стихотворцах. Вообще же должно сознаться, что стихотворство современное потеряло прежнюю веру само в себя: стихи пишутся вяло, пишут их без убеждения, по какому-то преданию. Эта эпоха упадка стихотворной поэзии обозначилась появлением женщин-поэтов. Но и те пишут реже, однако пишут. Одна из них одарена истинным поэтическим талантом: это К. К. Павлова.

Кроме поэтов-стихотворцев, которых число, как и число их произведений, очень ограничено, есть писатели-прозаики, тоже поэты, ибо сочиняют изящные произведения. Скажем здесь вообще об этой современной литературе, предоставляя себе ниже сказать особо о писателях, значительных по таланту.

Повести, романы и комедии в прозе читаются больше стихотворений, ибо тут есть описание вседневной жизни да еще анекдотический интерес, который так любезен праздному любопытству. Эта лукавая изящная проза продержится долее, чем откровенный стих. Впрочем, дурных повестей не найдешь теперь ни за какие деньги; все повести не дурны: в том-то и беда. Читаешь: есть как будто и занимательность, и как будто что-то вроде характеров, и слог не дурен, и даже как будто есть мысль; но все это одни призраки. Прочтешь: никакого впечатления не осталось: повесть или комедия забывается, как ничего не принеся: ни мысли, ни образа, достойного утвердиться в душе после чтения; если же и встречаются кой-какие исключения, то они редки и отличаются от прочих повестей тем, что впечатление остается несколько дольше. Эти *недурные* повести не могут занять ни мысли, ни чувства. Представьте себе человека, который и не глуп и не умен, который обо всем имеет поверхностное понятие, говорит гладко — ничего не скажет, кажется умным по наружности, не будучи таким на самом деле, между тем имеет весь лоск приличия, так что даже никаким нечаянным оригинальным движением не выкажет себя самого и не отличится от других:

согласитесь, что такой господин невыносимо скучен; всякая положительная глупость интереснее. Наши современные *недурные* повести, романы и комедии сильно похожи на означенного господина. Один из современных писателей (г. Авдеев)¹⁴ задал себе как-то очень искренний вопрос, на который он сам не нашел что отвечать: «*Для чего мы все пишем?*» В самом деле, господа, для чего вы пишете? Для чего пишут многочисленные авторы недурных повестей и романов? Немолчной потребности творческой в них не видно. Мысли, которой в жертву приносится вся жизнь и которая стремится высказаться везде, повесть ли это или драма, или другое сочинение, — такой мысли в них неприметно. Что заставляет их писать? А бог их знает. Настоящей побудительной причины, кажется, нет. Мы не спросили бы, конечно, Гоголя, для чего он пишет. Великий художественный гений, попавший в наше нехудожественное время и болезненно несший тяжесть его бремени, он, окруженный толпой микроскопических последователей, все свое литературное поприще проживающих одной какой-нибудь его фразой, одним оборотом его речи, — он стремился сказать нам многое, что нужно в это время вопросов и сомнений. Мы не спросим людей ученых, зачем они пишут? Они трудятся над решением великого вопроса русской жизни, как бы ни решали его розно. Но не можем не повторить вопроса многим, выступившим наружу, современным литераторам: для чего они пишут?

Как бы то ни было, как бы ни хлопотали г-да писатели, они бессилием своим создать что-нибудь — доказывают, что миновала их эпоха. Чаша прежней поэзии выпита; на дне теперь остается один отсед. Будем же иметь мужество правды и скажем: да, минула эпоха отвлеченной литературы, во всем обширном смысле этого слова; минула она еще ощутительнее в смысле более частном, в смысле литературы изящной, и миновала она всего явственнее в том отделе изящной литературы (как и должно быть), который наиболее, самою формою своею, принадлежит художественным произведениям: то есть в отделе собственно так называемой поэзии, в отделе стихов. Что касается до произведений изящных в прозе, то здесь кипит еще целый рой немощных писателей, набежавших со всех сторон на опустевшее поприще. В области же стихотворства, даже и во внешнем смысле, становится пусто; стихотворения редки, в них нет поэтической искренней веры; бывают в них и мысль высока и стих силен, но стих и мысль не сливаются в одно цельное звучное созданье, и они не останавливают на себе общего внимания, по крайней мере, надолго. Хоть и жестка правда, а сказать ее надо. Отвлеченный стихотворный период, начавшийся с Кантемира и в особенности с Ломоносова, давший много прекрасных, поэтических, хотя отвлеченных,

не народных созданий и продолжавшийся до сих пор, — стихотворный период в России окончился.

Бог с ним, с этим временем, временем отвлеченной и заемной умственной деятельности! Хорошо, что мы уже понимаем его ложность. Лучше былых самообольщений, лучше заемной неискренней, чуждой родной почве поэзии — наше строгое не поэтическое время. Когда и как явится опять поэзия, какой образ примет она, будет ли она чем-то невиданным, вновь ли поэтическое произведение будет принадлежать, как песня, всему народу: это связано с жизнью, и этого решить мы пока не беремся. Во всяком случае, прежняя отвлеченная поэзия прошла; новой, действительной и народной, — еще нет.

В наше время поэтическое произведение, хотя написанное с талантом (ибо таланты всегда возможны), может быть только средством, одним из способов для выражения той или другой мысли. Известен анекдот об математике, который, выслушав изящное произведение, спросил: *что этим доказывается?* Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении, является вопрос: что этим доказывается? Таковы эпохи исканий, исследований, трудовые эпохи постижения и решения общих вопросов. Такова наша эпоха.

Все ли понимают великий вопрос, предстоящий теперь русскому человеку? Не все его понимают, но все испытывают его присутствие; одни сознательно идут к разрешению вопроса или стоят перед ним в недоумении; на других отразился он отсутствием прежней деятельности, скукою, апатиею.

В области науки именно заметно у нас много полезной деятельности, которая должна дать богатые и живые плоды. Наука первая пробует свои силы и старается выйти из отвлеченности и подражательности, старается встать на свои ноги. Всего более чести в наше время ученым занятиям, предмет которых Россия со всех сторон. Изыскания, исследования, преимущественно по части русской истории и русского быта, должны по-настоящему быть делом всякого русского, равнодушного к вопросу мысленной и жизненной самобытности в России; это личный вопрос каждого из нас. Общее дело России должно быть частным делом каждого русского.

Мы уже сказали о стихах и выразились вообще о прозаической изящной словесности. Но теперь надобно поговорить подробнее о тех писателях-прозаиках, которые выдаются из толпы. На поприще литературы имеется у нас много писателей с талантом, которые пишут, действуют, как будто защищая права литературы в современной эпохе, но которые не в силах остановить хода истории и всею массою, вместе с самою ареною увлекаются потоком времени. Кроме того, в них са-

мих, как в писателях (мы говорим о писателях с талантом), в их произведениях обозначается, однако, ход, направление времени, историческая задача.

Просим не забывать, что мы пишем обозрение современной литературы, а не критику современных ее писателей; этому в нашей статье мы не намерены ни давать подробного отчета во всех отдельных произведениях того или другого писателя, ни составлять полной его литературной характеристики.

Находясь под влиянием чуждым, долго литература наша в повестях своих занималась преимущественно обществом, так называемым высшим или образованным, именно тем обществом, которое, отделясь от народа и лишась живительных корней родной почвы, всплыло на поверхность, отражая на своей плоскости все иностранные направления и интересы. Долго балы с соответственными князьями и графами изображались пером наших писателей. Потом, после того, как гениальный художник указал с горьким смехом на действительность русской жизни, возникла так называемая натуральная школа, задавшая себе задачей быть естественною, натуральною и оттого принявшая это наименование. Иные говорят, что она создана Гоголем; нет, она возникла вследствие ложного понимания художественного гения, вследствие усвоения себе внешних его приемов, но не идеи и, конечно, не таланта великого художника. Искусственность и неестественность отношения к жизни еще более здесь выразились; ибо здесь было притязание на жизнь, и притязание совершенно отвлеченное. Механическое отражение жизни, со всеми ее мелочами, но без ее смысла, производило обратное впечатление, и вся эта наружная верность жизни была клеветой на жизнь. Но всякое явление, не имеющее состоятельности внутренней, недолго держится и падает само собою: так пала и натуральная школа, и название ее перестало употребляться. Недолговечна наша литература в своих явлениях! Натуральная школа, ища натуральной пищи, спускалась в так называемые низменные слои общества и в силу этого доходила и до крестьян. Но и здесь она брала сперва лишь то, что ярче бросалось в глаза ее мелочному взгляду, лишь те случайные резкости, которые окружают жизнь, лишь одни родинки и бородавки. И как доволен был натуральный писатель, когда подслушивал у народа оборот или слово или даже произношение особенное; с какою гордостью писал он: *тоишь* вместо: *то есть*! Но так как эти подвиги были не трудны, то вскоре появилось множество писателей, без труда усвоивших себе натуральные приемы, и образовалась целая фабрика повестей и романов: ее изделия скоро наполнили все журналы. Повести писались вдвоем и

чуть ли не втроем. Но люди с талантом не могли долго удовлетворяться этой сухой, дешевой фабричной деятельностью. Прикосновение к крестьянину и, в лице его, к земле русской подействовало освежительно на писателей с талантом, — и крестьянин, взятый сперва как *самый натуральный субъект*, невольно представился им, хотя далеко еще не вполне, с другой, высшей своей стороны. Эта честь прежде всего принадлежит г. Тургеневу, за ним г. Григоровичу (в его «Деревне» крестьянин выставлен еще в духе натуральной школы), а за ним и другим более или менее талантливым писателям. Цель и самое название натуральной школы исчезли сами собою; но приемы ее остались; остался ее мелкий взгляд, ее пустое щеголянье ненужными подробностями: от всего этого доселе не могут избавиться почти все, даже наиболее даровитые, наши писатели. Как бы то ни было, писатели наши догадались или смутно почувствовали, что для литературы есть поважнее задачи и вопросы, чем удачное списывание того, что видит глаз и слышит ухо, и что достоинство их произведений есть дело, приобретаемое довольно легко, лишь только надо вооружиться терпением и откинуть от себя все серьезные требования мысли и искусства. И вот произведения писателей приняли иной, более степенный вид, но с прежними натуральными приемами и прежнею мелкостью взгляда. Справедливо заметил А. С. Хомяков, что в литературе нашей, хотя и заемной и искусственной, но все же производящейся в России, составляет главную задачу — вопрос общественный. В особенности видим мы это в комедии. В самом деле, предмет русской комедии — не отдельная личность, но общество, общественное зло, общественная ложь — таковы «Недоросль» и «Бригадир», «Ябеда», «Горе от ума», «Ревизор», «Игроки»¹⁵. Это — чисто аристофановское свойство комедии. То же стремление к общественному значению видим мы теперь и в изящной литературе нашей. Но это направление получило особенный вид. Предметом повестей наших и драм стали сословия. Сперва сословие крестьянское, которое глубоким содержанием и значением своим, все-таки непонятным, смутило беззаботных наших писателей и столкнуло их с пошлой дороги натуральной школы на более важную дорогу. Крестьяне стали предметом повестей, романов, даже драм. Потом явились купцы, сделавшиеся предметом преимущественно драматической литературы, но зато как-то особенно показавшиеся заманчивыми для наших комиков. Мы надеемся иметь случай сказать подробнее об этой литературе, когда будем говорить о сочинителях, почти исключительно посвятивших себя крестьянам или купцам. Обозначив общее значение нашей литературы, переходим к нашим писателям.

Прежде всего скажем о г. Тургеневе. Деятельность этого

писателя с несомненным талантом перешла много изменений и представляет сама в себе ход нашей современной литературы, вполне ему соответствуя. Г. Тургенев начал со стихов. В первых его стихотворных произведениях сильно отзывалось лермонтовское направление, это странное хвастовство бездушного эгоизма, эта самодовольная насмешка надо всем, обличающая пустоту внутреннюю. Недавно вышли повести и рассказы г. Тургенева¹⁶; в них не вошли «Записки охотника», ни стихотворные его пьесы, ни драматические сочинения. Тем не менее в них, благодаря хронологическому (самому лучшему) порядку издания, виден весь ход нашего автора, а вместе и литературы нашей, которой он был и есть одним из соответственных представителей. Повести первого тома до того слабы, до того лишены всякого достоинства, что о них не следовало бы вовсе и упоминать. Но в них выражается то ложное настроение, которое довольно явственно выступило в нашей литературе, и потому скажем несколько слов и о них. «Андрей Колосов» еще весь проникнут тем лермонтовским направлением, которое под ложным видом будто бы силы скрывает только совершенное бездушие, самый сухой эгоизм и крайнее бесстыдство; эта сила — вещь весьма дешевая, как скоро бороться не с чем. Повесть «Три портрета» самым возмутительным и оскорбительным образом выражает то же направление. Из уважения к г. Тургеневу мы бы не желали видеть этой повести в печати. В своей повести «Андрей Колосов» автор называет *мелкими хорошими чувствами* раскаянье и сожаленье!.. Кажется, то же самое автор сказал как-то стихами:

Но, слабых душ мученья,
Не знал раскаянья и сожаленья¹⁷.

Это отголосок известных стихов Лермонтова:

Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно;
Для мук и счастья, для добра и зла,
В них пищи много; только не возвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, — без раскаянья, упреков
И жалобы: им в жизни нет уроков¹⁸.

Была же возможность так думать и говорить! Могли же до такой степени искажаться понятия. Раскаянье, сожаленье: это лучшее достояние души человеческой. Лучшее, неотъемлемое свойство человека — возможность сознать свою ошибку, откинуть ложный путь, осудить самого себя; только бездушная природа не знает раскаянья и вечно готова, но человек вечно не готов, человек есть постоянный зиждитель самого себя. И вдруг является воззрение, где проповедуется по-

стоянное себя оправдание, отсутствие суда над собою, отсутствие сожаленья и раскаянья... Что это, как не бездушный эгоизм? Но зачем тревожить прах отжившего учения! Оно превосходно заключило себя Тамариным¹⁹ и исчезло. Воспоминание об нем вызывает сожаление и смех.

Итак, вот с чего начал наш автор. Скоро остался он без опоры, ибо направление лермонтовское он бросил, а куда идти — еще не знал. Таковую совершенно бесцветную деятельность, такое состояние автора, не знающего, куда преклонить голову, выражают его повести «Жид», «Бретёр». Смысла их и понять нельзя. Но вот, наконец, сквозь самодовольную толпу разнообразных господ с бритыми подбородками в немецких костюмах протеснился и стал перед автором образ русского крестьянина, и автор изобразил его с сочувствием. В 1847 году появились впервые «Записки охотника». Они начинались с рассказа «Хорь и Калиныч». «Московский сборник», написавший резкую статью о г. Тургеневе, поспешил изъявить сочувствие новому виду его авторской деятельности, признать замечательное достоинство «Записок охотника» и от души пожелать успехов автору на новом пути²⁰; это доброе желание было не даром. Г. Тургенев точно пошел по новому пути; появился ряд рассказов под общим названием: «Записки охотника», из которых многие истинно прекрасны; та живая струя России, струя народная, до которой коснулся г. Тургенев в первом рассказе, не раз блещет в них и освежительно действует на читателя, приближая его к той великой тайне жизни, которая лежит в русском народе, и давая ему ее почувствовать: это уже заслуга. Замечательно, что рассказы из другого быта, в «Записках охотника», а также и отдельно написанные в то время, тоже получили достоинство, которого они не имели прежде, и выразили собою направление, совершенно противоположное прежнему. Нет, уже не хвастовство эгоизма явилось в них, а напротив, сознание дрянности человеческой! В них выражается большею частью то бессилие, та мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают часто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая перемена, какая разница, и разница спасительная, с предыдущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и геройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного человека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубокою любовью братскою. Это направление выражается даже в «Петушкове», особенно в «Дневнике лишнего человека», также в «Гамлете Цигровского уезда» (в этой повести, сверх того, еще затронута важная мысль о деспотическом, страшном значении кружка) и, наконец, в «Переписке». Мы должны, однако, сказать, что в «Записках охотника» у г. Тургенева, собственно в рассказах, не касающихся крестьянского быта,

развились чрезмерная подробность в описаниях: так и видно, как автор не прямо смотрит на предмет и на человека, а *наблюдает и списывает*; он чуть не сосчитывает жилки на щеках, волоски на бровях. Если автор думает этим средством схватить физиономию и жизнь явления, то это очень ошибочно; подобная подробность налагается, как рамка, на представление читателя, ибо ему ничего не остается дополнять, ибо свобода его собственного представления, которую необходимо должно возбуждать в нем чтение изящного произведения, стеснена, и явление утрачивает свою живость. Напротив того, схватите основные черты предмета и оставьте все остальное дополнить самому читателю; не связывайте свободы его представления. В каждом произведении деятельно участвует и читатель; породите в нем целый ряд таких ощущений, о которых вы не говорите, но которые возникают, ибо вы сумели тронуть то, что их производит. В истинно изящных произведениях сказано много того, о чем и не говорит автор; а наши авторы-статистики, кажется, добиваются, чтоб читателю ничего не оставалось желать и думать более. Они очень ошибаются, ибо они *ограничивают* впечатление и вместо полноты дают неполное (ибо ограниченное) представление, вместо богатства дают бедность, вместо силы слабость. В таких мелких, ничтожных описаниях заметно усилие, а *усилие всегда отнимает силу*. Жажда быть верным действительности доходит часто до цинизма у г. Тургенева. Но наш автор снова коснулся народа в двух превосходных своих рассказах «Муму» и «Постоялый двор». Это решительный шаг вперед. Эти повести выше «Записок охотника» как по более трезвому, более зрелому и более полновесному слову, так и по глубине содержания, особенно вторая. Здесь г. Тургенев относится к народу несравненно с большим сочувствием и пониманием, чем прежде; глубже зачерпнул сочинитель этой живой воды народной. Лицо Герасима в «Муму», лицо Акима в «Постоялом дворе»: это уже типические, глубоко значительные лица, в особенности второе. Мы не пишем здесь критики сочинений г. Тургенева, не даем полного отчета о каждом авторе, а пишем только обозрение современной литературы, потому и не распространяемся об этих двух прекрасных повестях, которые сами по себе заслуживают полного разбора. Кроме повестей из народного быта г. Тургенев написал еще и другие повести, из которых также видно, что он не стоит на одном месте, а идет вперед. Повесть «Два приятеля» показывает, что г. Тургенев не останавливается на картине одного бессилия прекрасной души, но ищет выхода. Этот выход находит он здесь в цельности и простоте жизни, которую выражают Верочка и Петр Васильевич. Весь рассказ прост и выразителен и уже изъят от подробной описи выводимых лиц. Справедливость

требуется сказать, что этой литературной статистики, если можно так выразиться, вообще меньше теперь у г. Тургенева. То же побуждение (стремление к простоте и искренности) видим, отчасти, и в «Якове Пасынкове», где с сочувствием выставлен человек, вовсе не разочарованный, вовсе не гордый, а напротив, кроткий и любящий. Недавно было у нас в моде смеяться над такими лицами; эта недостойная насмешка выходила из собственной бедности душевной насмехающихся, и потому тем с большим удовольствием встретили мы сочувствие автора к такому лицу, как Пасынков, — сочувствие, к какому способна лишь добросовестная, любящая душа. Нам остается сказать о двух повестях: «Рудин» и «Фауст». «Рудин» — едва ли не самое обработанное и глубоко задуманное сочинение г. Тургенева; здесь выставлен человек замечательный; с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни вследствие желания строить ее отвлеченно, вследствие попытки все определять, объяснять, возводить в теорию. Лицо Рудина, изображенное автором, несмотря на недостатки свои, возбуждает в то же время сочувствие. «Фауст» есть последнее произведение г. Тургенева. Здесь противопоставляет он дрянности человеческой уже не только простую цельную естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, — опору, прибежище и силу человека. Эта повесть есть новый шаг вперед, есть уже верное и высокое созерцание; дай бог г. Тургеневу продолжать по этому пути.

Мы сказали о г. Тургеневе гораздо подробнее, нежели сколько допускали это пределы литературного обозрения; но г. Тургенев имеет понятное право на такое внимание, как писатель, деятельность которого представляет переходы самой литературы нашей, как писатель, не каменеющий в ошибочно избранной форме, но имеющий силы отделаться от ложного определения, постоянно идущий вперед в созерцании жизни и наконец зреющий и мужающий в самом таланте своем.

Г. Григорович не примыкает к лермонтовской эпохе литературы. Он прямо начинает с крестьянского быта. Описание крестьянского быта составляет его специальность, так сказать. Описание это очень верно (речь крестьянская изумительно подслушана в ее оттенках), но это достоинство было бы еще не велико. Нет, у г. Григоровича есть уважение к крестьянину, есть любовь, и вот почему его талант передает иногда живо образ крестьянина, иногда угадывает внутренний смысл его жизни, т<о> е<сть> русской жизни. «Антон-Горемыка», «Четыре времени года», «Мать и дочь», «Смедовская долина» — все это прекрасные, живые рассказы. «Рыбаки» есть уже целый роман из крестьянского быта; верности описания здесь очень много, даже слишком много, как и во всем,

что пишет г. Григорович; но талант выбивается даже из-под этой наружной верности описаний; видно подчас одушевление и теплое чувство. С повестей г. Григоровича возник у нас особый отдел литературы, предметом которой — простой народ. Это направление утешительно, хотя изображение крестьянина почти всегда поверхностно и постоянно является ниже подлинника. Скажем несколько слов вообще об этом народном отделе нашей литературы.

Не так давно еще время, когда наша литература была собранием бледных копий с западного общества, изображением доморощенных героев и героинь à la Balzac, à la George Sand, наделенных столь богато подражательными страданиями и страстями. Вся эта область жизни, согретая искусственным жаром теплицы, может быть предметом для созерцания художника только с точки зрения высококомической, только в силу обличения ее лжи, элемента ее существования. Юмористический рассказ, комедия: вот где настоящее место для Печориных, для светских страстей и страданий. Попытки такого изображения этой сферы были, но попытки эти не были вполне искренни и падали только на некоторых представителей этой сферы, а не на самую сферу. Между тем мысль уже давно указывала на ложь всей этой области жизни, оторванной от жизни народной, указывала на простой народ, как на хранителя русских начал, указывала на его быт как на быт самостоятельно русский, в котором лежит для нас опора, наставление и надежда, из которого, как из зерна, разовьется самостоятельная жизнь для России, обогащенная опытом, укрепленная сознательною мыслию, прошедшая сквозь соблазн подражательности, сквозь искушение отрицания. Литература наша, относившись доселе с чувством какой-то гордости к крестьянам и вообще ко всему своебытному, приветствуя народ насмешкою, наконец иначе обратилась к русской народности, сперва с некоторым почтением, которого как будто стыдилась; как будто совестились, что с русским мужиком она входит в сношения серьезные; но мало-помалу сила правды подействовала на наших писателей, и в них заговорило, может быть, родное чувство и родилось желание изобразить русского крестьянина во всем его великом человеческом достоинстве. Таким путем образовалось целое направление литературы, имеющее целью изображение простого народа, преимущественно крестьянина. Самые замечательные на этом поприще писатели: гг. Григорович, Писемский, Потехин и Стахович.

Стремление прекрасное, и за доброе желание нельзя не благодарить, но осуществляется ли оно на деле?

Предмет наших авторов другой: это правда; но произошла ли нужная перемена в них самих? Они изображают народ-

ность, но пробудилась ли она в самих писателях, поняли ли они русский народ, исполнились ли хотя отвлеченно, хотя в разумении, его духа? Одним словом, писатели наши, обратившись к народу, перестали ли сами быть иностранцами? Вот важные вопросы. На них ответ дают произведения писателей, и ответ этот не совсем благоприятен. Правда, мы должны сказать, что есть искреннее стремление понять народ и быть народным, а искреннее стремление не бывает бесплодным, что писатели смутно чувствуют народ и тайну его жизни, что они угадывают кой-что и сколько-нибудь приближаются к нему. Но столетнее верование не исчезает вдруг, и отделаться от него легко нельзя. В произведениях писателей наших мы это видим. Когда писатель обращается к такому народу, которому он чужд внутренне, и хочет изобразить его, то на что прежде всего обратит он внимание? Разумеется, на наружность: на то, что поразит его зрение, слух; он старается наблюдать и подмечать, он в народе видит ухватки: их может он уловить верно; точно так же с внешней стороны схватывается и речь народа. Такое явление представляет нам наша литература в своих народных повестях и рассказах. Писатели наши жадно кидаются на все внешние признаки народности, на родинки, бородавки и пятнышки народного образа, народной речи, и не видят, что истинная народность и быта и слова ускользает от них за этими внешними признаками, которые в жизни незаметны, а перенесенные в искусство становятся ярки и значат более, чем на деле. Все, что переносится на бумагу, получает особое значение, особенную выпуклость; все эти мелочи наружности и речей, поглощаемые в жизни общим значением, — записанные на бумагу, закрепляются, так сказать, получают выпуклость и значительность, какой они не могут иметь в жизни, и таким образом эта верность становится неверностью. Уловить так, по приметам, народный быт — не трудно. Доказательством тому служит изобилие наших изобразителей народного быта. А между тем народный быт точно может быть изображен. Должен быть схвачен общий тон жизни, все существенное, а не одни наружные приметы, они выразятся сами собою, во сколько это нужно. Народная речь не заключается в *евто*, *тоись* и т. п. Народная речь есть такая же общая человеческая речь и отличается внутренним складом, оборотом слова. Наша же русская народная речь отличается от нашей отвлеченной тем, что она богаче, сильнее, слова употребляет в живом и точном значении, обороты ее живы и сильны, самая последовательность слов разнообразнее и гибче, одним словом, — это настоящая живая русская речь.

Чисто внешних признаков одних не существует, а поэтому писатель, хотя и употребляет талант свой и внимание на изображение этих одних внешностей, не может при них остаться.

Тут наблюдение идет далее и старается подметить выражение физиономии; подмеченное передается, и портрет становится похожим наружно, или во столько, во сколько наружность, принятая за основание, передает внутреннее.

Кроме г. Григоровича пишет народные повести и рассказы г. Писемский. У г. Писемского есть, бесспорно, наблюдательность, также наружная, но мастерская. Замечательно, что желчное расположение, которое проникает все другие сочинения г. Писемского, исчезает, когда говорит он о крестьянине; но, однако, в его повестях менее, чем у других писателей, затронута душа народная. У него преобладает наружное сходство. Но о г. Писемском мы намерены сказать особо, как о писателе ненародных повестей. Г. Стахович во всех народных произведениях²¹ обладает тоже верностью, но верностью живою, и если он не схватил глубины духа народного, то часто схвачена у него его нравственная природа; в его произведениях много жизни и веселости. Г. Потехин, тоже писатель с талантом, несколько иначе относится к предмету своих произведений, по крайней мере он хочет относиться иначе, поглубже²². С одной стороны, мелкая копировка, в особенности в речи народа, доходит у него до крайности, до неприятного списывания и совершенно закрывает народную речь. С другой, он идет дальше и старается вывести русского крестьянина со стороны нравственной в важных событиях жизни, но по нашему мнению, это ему решительно не удастся: с одной стороны, наружной, — тут и одежда и ухватки крестьянина, но с другой стороны, со стороны духовной, — крестьянина нет, вся эта сторона навязана ему автором. Свои собственные понятия, с заданною мыслию, автор вложил в крестьянина, и понятия, вовсе не сродные крестьянину; окончательная цель была, кажется, представить крестьянина в выгодном свете, кажется, сочувствие водило пером автора, но надобно было найти в самом крестьянине его высокое, важное значение, а не навязывать ему разных страстей и подвигов, или отвлеченно общих, или ему чуждых. Крестьянский костюм, сделанный г. Потехиным, бесспорно отличный, но все же это костюм, и в него наряжен не крестьянин.

Г. Писемский весьма замечателен в своих ненародных произведениях, талант его имеет особую оригинальность. В нем видно постоянно какое-то желчное отношение к лицам, им изображаемым. С удивительною верностью и цепкостью, так сказать, схватывает он характер изображаемого лица, заставляет читателя устремлять на него внимание и ждать раскрытия полного, но вдруг останавливается; характер не раскрыт, не исчерпан до глубины, писатель остается при одном начале, едко издеваясь над выставляемым лицом, — и только; характеры, выводимые г. Писемским, скорее одни меткие заглавия

характеров. Читателем, при дальнейшем чтении его произведений, овладевает неприятная скука. Верность тоже доходит у него до самой неприятной точности. Эта неприятная точность и эта странная желчность к людям в особенности выразились в комедии г. Писемского «Ипохондрик», о которой так много говорили до напечатания. Разберем ее подробно.

Ипохондрия! Страшный бич нравственный! Страна призраков, примыкающая к ужасным вратам сумасшествия! Конечно, странно выводить болезнь на сцену, но много здесь можно было затронуть важного и таинственного, можно было заглянуть в глубины и пропасти духа, могли быть освещены темные бездны души, откуда выходят призраки, можно было проникнуть в жилище того безграничного ужаса, объемлющего порою все существо человека. Художественность бы, может быть, потерпела, но сама мысль произведения была бы важна. Впечатление могло быть тяжело и в свою очередь произвести ипохондрию.

С таким описанием принялись мы за чтение комедии «Ипохондрик», но опасение наше было напрасно: ни до чего до этого дело не дошло. Предмет затронут уж вовсе не глубоко.

Перед нами, в комедии г. Писемского, не ипохондрик, а то, что называется мнительный человек, вроде *malade imaginaire* *, который беспрестанно воображает, что у него то и то болит — вот и вся ипохондрия. Но сила не в ней. Сам ипохондрик, Дурнопечин, — лицо бесцветное, не по своей вине, а по вине автора; но он окружен другими лицами, которых колорит довольно ярок: это отвратительное собрание нравственных уродов, один безобразнее и гаже другого. Главная пружина, заставляющая ходить все эти лица около так называемого ипохондрика, — корысть, желание от него пожить деньгами. Самое нравственное лицо из всех — тетка Дурнопечина, Соломонида Платоновна, колотящая по щекам своего родственника и тянущая водку и вино! Что это за необыкновенное собрание и гадких лиц и гадких дел! Какой интерес может связывать с таким обществом? Почему после этого не вывести на сцену и кабака со всем его пьянством и развратом? Впрочем, это сравнение для кабака оскорбительно; кабака много бы выиграл перед этим обществом.

«Как, — спросят нас, — а сочинения, а лица Гоголя? Вы, конечно, восхищаетесь его произведениями; а разве хороши нравственно выставленные им лица?» Конечно, милостивые государи, мы восхищаемся гениальными произведениями Гоголя, величайшего русского художника, — и по этому случаю считаем нужным теперь объясниться.

Предметом искусства часто бывают и низкие и страшные

* больное воображение (франц.). — *Ред.*

характеры, и грязные и оледеняющие ужасом сцены; одним словом, лица и дела такого рода, что, в действительной жизни, вы бы отвернулись от них или с презрением или с ужасом, а может быть, приняли бы и деятельное участие, чтобы воспрепятствовать ужасным или гадким явлениям: так в действительности, условия которой налагают на вас обязанности как на человека, ей же принадлежащего, в ней же живущего и действующего. Не так в искусстве: события и лица, возмутительные в жизни, в искусстве теряют грубую правду теперь происходящего или тогда-то бывшего факта; искусство, лишая их этой правды факта, очищает их и отрешает от случайности, и в то же время, открывая в них какое-нибудь общее значение, какой-нибудь внутренний смысл, оно связывает их с духовной общей истиной, к которой постоянно обращен дух человеческий. Отсюда источник чистого высокого наслаждения, даруемого произведениями искусства, даже когда бы предметом их было ужасное или низкое. Искусство есть истина не в силлогизме, не в логическом выводе, а в образе. В жизни вы бы и часа не пробыли с лицами «Ревизора», если бы ваше положение не открыло вам между ними полезной деятельности. В жизни вас бы обняло отвращение ужаса при виде Ричарда III²³; вы бы бросились, может быть, спасти несчастную Дездемону из рук африканца, если бы находились при страшном убийстве. Но отчего в мире искусства Хлестаков и Городничий дают вам наслаждение? Отчего еще выше чувствуете вы человека и достоинство его назначения среди этого мира мелочей, дрянностей и низостей? Отчего наслаждение же не покидает вас при виде ужасов Ричарда III, при судьбе Дездемоны? Оттого, что в области искусства с этих явлений снята правда частного случайно-действительного грубого факта и открывается в них общая истина, общее значение, а вместе, при *изображении*, тайна красоты. Все это совершается высоким действием художественного творчества. Человек, созерцающий художественное создание, видит яснее и становится лучше. Но если явления жизни, лица и события остаются в произведении писателя со всею своею наглою, так сказать, действительностью, то они действуют на вас так же, как они действуют в жизни, т<о> е<сть> возбуждают то же отвращение или ужас, с тою разницею, что чувство отвращения и ужаса не имеет у вас действительного живого своего назначения, ибо перед вами не действительная жизнь, а *сочинение*; верно списанные, скопированные с действительности, такие произведения, сохраняя всю случайность факта, не имеют, с одной стороны, общего значения (как в художественном произведении), дающего им цену истины и изящества, — с другой стороны, не имеют и правды факта, действительно, живо перед вами стоящего (ибо они не факт, а список), правды, дающей

частное, случайное, но действительное значение. Такого рода произведение — сочинение г. Писемского «Ипохондрик», художественного значения в нем нет и тени. Грязные лица в комедии являются со всею грязью действительности и случайности, не проникнутые художественным смыслом произведения, оправдывающим их появление, и потому отвратительны до высшей степени: следовательно, вся комедия, как сочинение, не имеет никакого достоинства и даже никакого интереса. «Но все это верно», — скажут. Но эта верность, отвечаем мы, вовсе не достоинство и не заслуга. Кто и что выигрывает от этой верности? Явление самое, жизнь сама? В копии жизнь не нуждается, да и копия всегда бледнее оригинала. Искусство? Копия с искусством не имеет ничего общего; она занимает лишь по внешности, так сказать насильно, место в его области, — место ворвавшейся грубой действительности в списке, действительности, которая еще могла бы только быть предметом искусства; сверх того, в настоящем случае, — это копия отвратительной действительности: восковая, крашеная, да еще безобразная фигура в художнической мастерской ваятеля. Припомним здесь, кстати, многозначащие слова Шиллера, который так глубоко понимал искусство. Нападая на натянутость французских произведений, он, в то же время, говорит:

Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen,
Der Schein Natur-so muss die Kunst entweichen *.

Да, если бы верность была художественным достоинством, то первым художником был бы дагерротипер²⁴ или стенограф. Задача и интерес искусства понятны, но их не отыщешь в копии. Поэтому, читая комедию г. Писемского, чувствуешь не художественное наслаждение, а напротив, отвращение, когда перед вами, один за одним, являются безобразные нравственные уроды, точно как будто вы входите в их действительное общество, чего, конечно, не желали бы, и отвращение не оставляет вас во все время чтения комедии. Еще если б какая-нибудь задача, мысль пьесы выходила наружу, но этой мысли нет, и спрашиваешь себя, зачем стоит перед вами это отвратительное собрание будто бы людей? Отношения ваши к произведению, их изображающему, еще хуже, противнее, чем к самой действительности, чем если б все эти уроды были живые лица, вам встретившиеся в жизни: там, по крайней мере, вы сами лицо действительное, для вас разрешена возможность действовать, а здесь и этого нет. Чем потрясет, чем подвигнет такое произведение вашу душу! Глубокою думою, негодованием или грустью? Но эти благородные ощущения

* Призрак никогда не должен достигать действительности; и как скоро побеждает природа, то искусство должно удалиться.